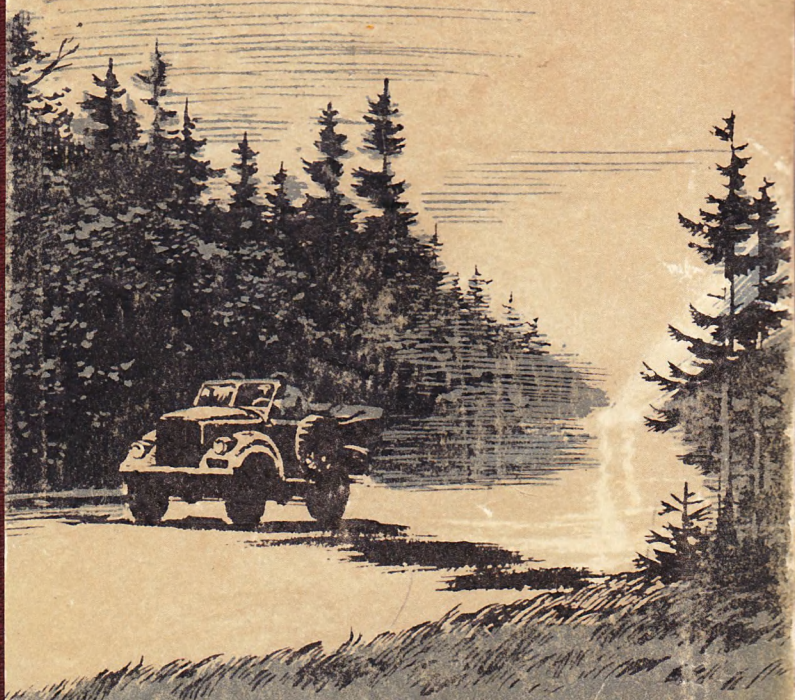




ЕВГЕНИЙ ВОЕВОДИН
ЭДУАРД ТАЛУНТИС

СОВСЕМ НЕДАВНО...

ЛЕНИЗДАТ • 1954

*Евгений Воеводин
и
Эдуард Талунтис*

СОВСЕМ НЕДАВНО...

ПОВЕСТЬ

*Ленинградское
газетно-журнальное и книжное
издательство*

1954



ПРОЛОГ

1

Из-за высокого крашеного забора доносились веселые голоса, смех, потом кто-то запел песню, ее подхватили, и прохожие на улице, улыбаясь, смотрели в сторону забора:

— Молодежь работает. Воскресник.

Там разбирали развалины дома, одну из последних руин, оставшихся в городе. Каждые полчаса машина, доверху груженная битым кирпичом, изуродованными взрывом трубами, проржавевшими и погнутыми остовами кроватей, выезжала из ворот в заборе. Звенели ломы и кирки, разрушая остатки стены нижнего этажа, и чем меньше оставалось битого кирпича, кусков известки, тем веселее становились голоса и бодрее песня.

На месте руин предполагалось построить заводский стадион, и молодежь завода «Электрик» уже предвкушала жаркие схватки с футболистами соседнего «Молотовца» или с легкоатлетами «Трудовых резервов» — на своем поле! Парни ожесточенно долбили, отваливая в сторону большие куски стены, а девушки таскали их на носилках к машинам.

— Что я, белоручка какая-нибудь! — расшумелась вдруг одна из них. — Петька две нормы еле-еле дает на производстве, а я — три с половиной, так что я, хуже его, что ли, чтобы кирпич таскать?

Валя взяла лом и встала рядом с парнями. За ней потянулись и другие девушки.

— Ой, — сказала Валя, — Екатерина Павловна, а вы-то зачем...

Екатерина Павловна, а попросту Катя Воронова, инженер с «Электрика», в широких брюках, — надо полагать, отцовских, — тоже долбила киркой зубчатую стенку. Из-под кирки взметывалось при каждом ударе легкое оранжевое облачко кирпичной пыли. Катя рукой расшатала глыбу слипшихся кирпичей, разогнулась и стерла со лба пот. В это-то время крикнули неподалеку: «Манерка!».

Катя обернулась. Разгребая обломки, двое парней тащили оттуда погнутый, пробитый во многих местах солдатский котелок.

— Екатерина Павловна, я... боюсь, — проговорила Валя и выронила лом.

— Чего ты боишься? — Катя смотрела на девушку, не понимая. Та стояла, приложив ладони к побелевшим щекам, и у нее кривились губы. — Ну, что с тобой?

— А если... не манерка...

Катя догадалась.

— Не бойся, — ответила она. — Людей здесь не было. Их выселили, когда немцы подошли к заводу. Я работала тогда на заводе, знаю: здесь был КП. Может, случайно только... Да и то вряд ли.

Она подняла кирку и начала отваливать кирпичи. Острый клюв кирки легко раскалывал их. Валя, немного успокоившись, тоже принялась долбить слежавшиеся обломки, как вдруг снова отскочила и, споткнувшись, села боком на выступ стены, глядя расширенными от страха глазами на что-то вроде ремешка, выбившегося из-под развалин. Кате стало не по себе. Она нагнулась. Это был, действительно, ремешок — серый, почти истлевший. Концом кирки Катя потянула его, и он лопнул. Тогда Катя начала разгребать осыпь, и Валя, так и застывшая на месте, услышала спокойное:

— Полевая сумка.

Валя осторожно приподнялась, взглянула и попыталась улыбнуться; улыбка вышла кривой и робкой, — девушка всё еще боялась.

— У Вороновой тоже трофей, ребята! — крикнул кто-то, и работавшие разогнулись. Катя тем временем осторожно раскрыла сумку — из нее пахнуло сыростью и плесенью.

Уже человек десять с любопытством столпились вокруг:

— Листки какие-то... Да ты осторожней... Может, тебе помочь?..

Из сумки высыпались плотно слежавшиеся, желтые, ломкие листки бумаги. Катя успела

подхватить их. И вот уже не десять, а сорок или пятьдесят человек собрались вокруг; задние лезли повыше, опираясь на плечи передних, и кричали:

— Да разверни же, покажи!

Первая бумажка оказалась конвертом. Невозможно было прочесть на нем ни адреса, ни фамилии адресата. Конверт хрустнул и развалился в Катиных руках, когда она попыталась было его раскрыть. Тогда она осторожно положила обрывки между двух кирпичей и начала разворачивать другие листки, очевидно вырванные из блокнота.

Сверху первого листка, блеклыми буквами, смазанными, словно человек, писавший эти строки, провел по невысохшим чернилам пальцем, было написано:

«Рассказ старшины Николая Сергеевича Лаврова о переходе...» — дальше несколько строчек обрывалось, их смысла вода, только сиреневые подтеки виднелись на бумаге.

— Екатерина Павловна, что с вами? — растерянно крикнула одна из двсвушек.

Теперь уже Катя сидела на гряде кирпича, дрожащей рукой проводя по лбу и щеке. Между тонких бровей появилась складка; казалось, Катя вспоминает что-то, но никак не может вспомнить.

— А? — словно очнувшись, она обвела столпившихся каким-то чужим и далеким взглядом. — Нет... Я так...

Она встала и сложила листки. Никто не видел, что написано там, ниже, где вода не смыла строчек, — это видела только одна Катя. Она осторожно положила листки в кар-

ман лыжной куртки и протянула вперед руку.

— Пропустите меня... — голос у нее срывался, она сказала это почти шёпотом. Парни посторонились. Низко нагнув голову, она прошла по развалинам, спрыгнула с гранитного цоколя и вышла за ворота.

2

Двенадцать лет назад, в глухую, туманную осеннюю ночь, буксирное судно «Резвый» вышло из маленькой бухточки безымянного скалистого острова и, деловито постукивая машиной, пошло на восток, в сторону города. На буксире находились, кроме команды (капитана буксира старшины Лаврова, кочегара и машиниста), пять раненых и пустые бидоны из-под бензина. Раненые лежали на палубе, укрытые одеялами и брезентом; ночь была сырая, не прекращаясь моросил осенний дождь.

Для прохода мелких судов в минных полях был оставлен в миле от берега узкий фарватер. Однако, когда гитлеровские войска вышли к берегу, этот проход стал не менее опасным, чем прямой путь через минные поля. Редкий рейс буксирам удавалось пройти незамеченными. После того как немецкий катер, погнавшись за буксиром, подорвался на mine и затонул, немцы не рисковали больше своими кораблями. На берегу были установлены орудия и прожектора. За восемь рейсов — туда и обратно — Лавров двенадцать раз попадал под огонь, и буксирчик приходил в город или на базу то с прорешеченными бортами и

трубой, то с полусгоревшей палубой, а что касается команды, то на «Резвом» за эти восемь рейсов сменилось два машиниста и один кочегар, — тех троих похоронили на базе.

— Самый малый! — тихо скомандовал Лавров. В тумане не было видно берега, однако по времени Лавров знал: берег здесь, совсем близко, и там уже настороженно повернулись в сторону залива тонкие стволы орудий.

— Братишка, закурить бы... — попросил один из раненых.

— Отставить разговоры, — прошипел вниз, из рубки, Лавров. «Чёрт! — выругался он про себя. — По своему же морю как контрабандист какой-нибудь пробираешься... Ну уж...» Он не успел додумать: мутная полоса света легла спереди, по курсу буксира, и медленно начала приближаться. Казалось, в тумане кто-то разлил молоко: это включили на берегу прожектор, и он шарил совсем близко.

— Стоп машина! — Лавров вздрогнул, когда за кормой утих винт: словно сердце остановилось. Молочная полоса приближалась, тогда Лавров скомандовал: — Полный! — и налег на рукоятку штурвала. Буксирчик почти повалился на правый борт, уходя к берегу, туда, где не доставал луч прожектора.

Но на этот раз уйти не удалось. Теперь по борту, по трубе, по палубе разлился голубоватый, мутный свет, и Лавров почему-то подумал, как они выглядят сейчас с берега: наверно, немцы видят только темное пятно, впрочем, достаточно большое для того чтобы открыть стрельбу...

Там не ожидали, что буксир подойдет так близко, и первые снаряды легли вдалеке, вздыбив островерхие фонтаны. Немцы стреляли беспорядочно: невозможно было в тумане вести прицельную стрельбу, взять судно в «вилку». «Может, проскочим, — подумалось Лаврову. — Теперь они будут переносить огонь. Значит...» Значит, надо было резко сворачивать влево и идти мористее.

В это время на берегу вспыхнул еще один прожектор и сразу скрестил на буксире свой луч с первым. словно дожидаясь только этого света, с визгом пронесся снаряд и упал в воду, окатив палубу ледяной водой. Лавров стиснул зубы. Второй и третий снаряд легли совсем у борта, и «Резвый» бросило в сторону. Треска Лавров не слышал, что кричал ему механик, — тоже не было слышно за грохотом. Однако буксир всё еще шел, и Лавров даже усмехнулся, меняя курс.

— Да слышишь ты! — потрясли его за плечо. — В воду... В воду, я говорю... тонем.

Механик кричал над самым ухом Лаврова, поворачивая к берегу перекошенное лицо.

— Тонем? — переспросил Лавров.

Механика уже не было в рубке. Лавров выскочил на палубу. Палуба была пуста, механик лежал, крестом разбросав руки. От близкого взрыва «Резвый» совсем лег на борт, и безжизненное тело механика покатилося к борту.

Лавров успел схватиться за пустой бидон из-под бензина. Потом что-то подняло его и швырнуло в воду. Он потерял сознание.

Лавров сразу же очнулся от холода, выплюнул горькую воду и увидел, что держится за ручку бидона. Метрах в десяти от него пылал «Резвый», стрельбы уже не было: немцы ясно видели, что буксир тонет.

На всякий случай Лавров снял ремень и привязал себя к бидону: так было надежнее. Потом Лавров поплыл, гребя одной рукой. Куда он плыл, он, пожалуй, и сам не мог бы сказать. На берегу потухли прожектора, только огонь на палубе «Резвого» робко раздвигал туман, словно плавил его.

Берег был справа. Плыть в залив не имело смысла — это значило бы попросту замерзнуть до рассвета, а там тебя, замерзшего, без сознания, еще неизвестно кто подберет — свои или чужие. Лавров решил плыть вдоль берега, — может, удастся где-нибудь выбраться в пустынном месте и через дюны уйти в лес, — ищи-свищи тогда. При нем был пистолет и две обоймы — это не так уж мало.

Когда Лавров выполз на берег, на песчаную отмель, силы уже покидали его, и перед глазами вспыхивали, мелькали цветные круги. Чем больше он напрягал зрение, чтобы разобратся в крошечной этой тьме, тем гуще, казалось, она становилась.

Лавров лежал на песке минут пять, а может быть и больше — трудно было сказать, сколько он лежал так, с пистолетом в прижатой к груди руке, щекой приложившись к холодному колючему песку. Потом он пополз тихо, благо мокрый от дождя песок не шур-

шал. Вдоль берега стояли колья, — натянуть проволоку немцы еще, очевидно, не успели. Это была удача; Лавров даже усмехнулся, с болью растягивая онемевшие губы. Всё-таки наглецы те, кто пришел сюда: уверены, что всё скоро кончится, к чему же тогда им заграждения, от чаек, что ли!

Тихо было кругом, заглох сзади и плеск мелких волн, набегающих на песок. Тогда он решил встать и пойти во весь рост. «Где же дюны, — думал он, — неужели я и ста метров не прошел!»

Но дюн всё не было. Под ногами скрипнула какая-то ветка, начался мелкий, по пояс, кустарник. Лавров остановился, — он совсем перестал понимать, где он выбрался на берег. Лавров прошел еще шагов десять, и чуть не вскрикнул, выкинув вперед руку с пистолетом.

Перед ним стояла неподвижная белая фигура, смутно виднелись ее обнаженные плечи. «Женщина», — отметил он про себя. Потом, уже без всякого удивления, он добавил: «Статуя», — и снова растянул в улыбке занемевшие губы, смеясь над своим испугом. Да, это была статуя, и он понял, что прополз по пляжу в Солнечных Горках, а сейчас попал в парк. Солнечные Горки, курортное местечко возле большого города, давно были заняты немцами.

Лавров хорошо знал этот парк: в выходные дни не раз приезжал сюда с базы. Неподалеку — вспомнил он — должен стоять грот, сделанный из ракушек, и он пошел по аллее, посередине ее. Если в кустах кто-нибудь прячется, если они всё-таки выставили секрет, о"

успеет выстрелить и броситься в кусты. Но никто не окликнул его, — повидимому, немцы были действительно беспечны.

Грот стоял посреди кустарника. Не имело смысла заходить в него, прятаться там, ждать рассвета. Лавров остановился возле грота, раздумывая, как ему быть дальше. Насколько он помнил, аллея выходила к фонтанам на площадь перед дворцом; там-то уж наверняка стоит часовая. Если же обойти грот и пробиться парком, можно выйти к восточной части Солнечных Гор, где начинаются болота, топь, поросшая камышом.

Внезапно до его настороженного, обостренного ощущением опасности слуха донесся то ли вздох, то ли стон, и явственно зашуршал кустарник. Лавров прижался к стенке грота, но не видел ничего и не мог определить, где шуршат кусты, кто прячется в них. И он сам пошел к кустам, — туда, откуда слышался вздох, — но тут же упал. Чьи-то цепкие пальцы крутили ему руку, в которой был пистолет, другая рука тянулась к горлу. Он услышал сдавленное: «Ах ты... гад...» — и прохрипел в ответ, отрывая от себя чужие руки:

— Я свой... матрос...

Человек отпустил его, и Лавров встал на колени, пошатываясь. Тот, кто несколько секунд назад повалил его на землю, тоже привстал; теперь Лавров чувствовал на себе неровное, свистящее дыхание, и сам выдохнул, наконец-то поняв, что набрел на такого же прячущегося, как и он сам:

— Кто вы?

Молчание было ему ответом. Наконец не-

знакомец осторожно нащупал его руку, оперся на нее, поднялся и помог подняться Лаврову. Лавров снова ослаб, он еле держался на ногах. Незнакомец, не говоря ни слова, тихонько подтолкнул его к кустам, и сам пошел следом. Лавров шел покорно; разом спало с него напряжение последних минут. Его воля теперь была направлена только на то, чтобы механически передвигать ноги. Где и сколько времени они шли, он не помнил. Потом, кажется, он потерял сознание, очнулся, увидел перед собой чье-то лицо, дернулся, но тут же ему зажали рукой рот:

— Свой... свой, братишка. Идем дальше.

Лавров успокоился, услышав то же тяжелое, со свистом дыхание. Ему стало лучше, он приходил в себя, и вместе с тем к нему возвращалось сознание того положения, в которое он попал. Теперь чуть светало, и можно было разглядеть, что перед ним — старик. На нем не было шапки, белые волосы спутались, и безжизненные пряди падали на лоб.

— К нашим идем, — шепнул он Лаврову. — Подержись еще, паря.

Из летучего, низко стелющегося тумана вдруг вынырнули две фигуры, и Лавров услышал резкое:

— Wer ist da? ¹

И тут же — сказанное, очевидно, другим:

— Laß gehen! ²

Лавров не знал языка, не понял, что сказали немцы; ему было ясно только одно: это

¹ Кто там?

² Пусть идут (нем.).

враги, — и он выстрелил наугад в спешке три раза; оттуда тоже раздалась очередь, и немцы исчезли.

Лавров и старик бросились прочь. Отбежав шагов двадцать, они оба повалились в густой кустарник, тяжело переводя дыхание. Лавров не спускал палец с курка, — он понимал, что сейчас начнется погоня, немцы, встревоженные выстрелами, конечно, устроят облаву. Но было тихо, только где-то далеко плескалось море.

— Они не будут искать нас, — тихо и убежденно сказал старик. — Помоги мне встать, паря.

Старик был совсем плох. Едва приподнявшись, он застонал и повис на руке Лаврова. Минуты три лежал с закрытыми глазами, а потом, с усилием подняв руку, вдруг сказал:

— Ты иди, иди... и вот, возьми, передай нашим..

Он совал ему какую-то скомканную бумажку.

— Не потеряй, за нее жизнями заплатить можно... Сегодня... в подвале собираются... наши... Пойдут через фронт. С ними пятеро... немцев... Шпионы, понял? Иди, паря!

Что-то липкое и теплое стекало по руке Лаврова. Он поднес руку к глазам: она показалась ему почти черной от крови. Боли Лавров не ощущал; стало быть, та очередь из автомата задела старика. А он всё шептал, быстро, скороговоркой, словно боясь не досказать всего:

— Зареченская, два. Подвал... Передай нашим, пятеро прошли... Ну, иди, иди...

Лавров поднял его; старик уже не мог стоять. Собирая последние силы, Лавров кое-как взвалил его на себя и понес; прошел шагов тридцать и упал сам, поднялся снова, немного пронес старика, всё еще не в силах осознать того, что тот ему сказал.

Когда он — в который раз — попробовал взвалить старика снова на себя, то почувствовал, что старик обмяк; приложив ухо к его груди, Лавров не услышал стука сердца. Всё-таки он потащил его дальше, не веря тому, что человек, у которого он даже не успел узнать имя, — умер.

Лавров оставил его в небольшой балке, через которую пришлось переползать, уложил его, уже похолодевшего, на холодной сырой земле и, встав, начал карабкаться вверх. Бумажка, сунутая за пазуху, прилипла к телу, он прижимал ее к себе левой рукой, как величайшую драгоценность, не зная, что это за бумажка.

Здесь снова память изменила ему. Лавров не помнил, как очутился в подвале и откуда взялась девушка, давшая ему воды. Ее лицо он не сумел рассмотреть в полумраке. Девушка сказала, тихо и ласково:

— Не бойтесь больше, это я, Катя.

Лавров усмехнулся:

— А я и не боюсь, Катя.

Он огляделся. Здесь, в сыром подвале с тяжелыми сводами, было человек около тридцати, не меньше. Женщины в черных платках и мужчины в штатском, с поднятыми воротниками пиджаков и в кепках; были и в военной форме — без петлиц, небритые,

отошавшие, — не иначе, как уходящие из окружения или убежавшие пленные. Молчали все, и поэтому, когда Катя сказала Лаврову: «Не бойтесь», — все поглядели в их сторону с каким-то осуждением, словно их могли услышать враги.

Лавров тоже молчал. Он пытался разглядеть лица. Может, этот седой с усиками и в очках, что сидит, опустив руки между колен, или женщина, до самых глаз закутанная платком, или парень в косоворотке, с тонким изможденным лицом, — может, они из тех, о ком говорил неизвестный старик, жизнь отдавший за то, чтобы враги не прошли. Как бы там ни было, сейчас надо молчать. «Я ничего не знаю. Меня, повидимому, нашли и принесли сюда. Разговаривать будем, когда перейдем фронт». Он даже успокоился от этих мыслей и задремал, а очнулся оттого, что кто-то наклонился над ним с лампой:

— Что, совсем плох? Эй, товарищ моряк, вы можете идти?

— Идти? — переспросил он. — Куда?

— С нами. К нашим.

— Да... — он попытался подняться. — Могу, ну конечно же, могу. А где мой пистолет?

Кто-то протянул ему пистолет, кто-то взял его под руку. Человек с лампой еще раз осветил его:

— Ну, пошли.

Лавров успел разглядеть и его лицо: неприметное, с толстым носом, с кустиками бровей, под которыми были болезненно опухшие веки. Человек этот, видимо, устал до предела. К плечу у него прилип красный кленовый ли-

сток, — стало быть, он пришел сюда, в подвал, из леса.

И вот опять ночь, дождь, — уже не мелкий, холодный осенний дождь, а сильный и шумный ливень, словно нарочно глушащий шаги. Шли гуськом, миновали сначала какие-то заборы, потом началась осыпь и внизу речка, за нею потянулся перелесок, низкий кустарник, исхлестанный дождем. Человек, который их вел, то возвращался назад, в хвост цепочки, то быстро проходил вперед — и всё это молча, не вынимая руки из кармана, где было оружие.

Роща кончилась большим болотом, и здесь их заметили. Издалека ударили минометы, и первые разрывы мин повалили несколько стройных тонких березок. Кто-то — очевидно, всё тот же вожатый — крикнул: «Не ложиться!» — и первый побежал, прыгая с кочки на кочку. За ним побежали, спотыкаясь и падая на коряги, остальные.

Мины ложились далеко, — немцы, надо полагать, кидали их вслепую. Но всё же при выходе из болота несколько мин накрыло колонну: женщина, с платком до глаз, упала, не вскрикнув, лицом вперед, а кто-то, застонав, ткнулся в куст. Раненого понесли, убитую оставили.

К Лаврову снова вернулась необычайная, быть может даже лихорадочная, ясность сознания. Всё воспринималось им теперь с какой-то особой отчетливостью; так бывает у альпинистов, когда они, делая над пропастью один шаг, знают, каким будет второй. Лавров остановился, пропуская шедших сзади.

В предрассветных сумерках можно было уже разглядеть лица — он всматривался в них, чтобы потом, у своих, сказать: да, все здесь, и, значит, никто не удрал из тех пятерых, ищите их!

Одной из последних шла Катя, он ее узнал сразу и пошел с ней рядом.

— Вам тяжело? — спросила она.

— Нет, ничего, — Лавров отвел рукой от лица ветку. — Кажется, скоро конец?

— Не знаю... И куда идем — тоже не знаю.

Они пошли молча. Дождь уже перестал, но по лесу шумели, стекая на землю с деревьев, тяжелые капли. Кончилось болото, и теперь люди шли между корабельных сосен, спотыкаясь о корневища, переползали через поваленные бурей или снарядами — не разобрать — мощные стволы деревьев. И чем дальше они уходили, тем больше в воздухе пахло гарью; тяжелый этот запах войны и страдания перемешивался с запахом хвои и грибной плесени — запахом русской осени. Где-то в вышине протянул невидимый косяк диких гусей, и долго еще слышно было призывное: «Гонк-гонк-гонк»... А люди всё шли и шли, падали, поднимались и снова шли. Лавров увидел, что упала Катя, и он нагнулся к ней, поднял, понес. А потом и у него вдруг пересохло во рту, закружилась голова, и, кажется, сам он опустился рядом с Катей на землю, окончательно теряя сознание...

Лавров очнулся только через два дня.

Первое, что он попросил, — это позвать

кого-либо из начальства госпиталя. Комиссару госпиталя он рассказал всё и внимательно перечитал запись своего рассказа.

Но комиссар не дошел до кабинета следователя: попав под бомбежку, он спрятался в подворотню дома, бомба угодила в дом, — комиссар был убит, его нашли и похоронили там, где стоит теперь над братской могилой мраморный обелиск.

А сумка с записями рассказа Лаврова была обнаружена двенадцать лет спустя.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Курбатов завязал тесемки у папки и поднялся. Потом, вспомнив, что он сегодня в форме, вернулся к столу и положил дымящуюся папиросу на край пепельницы.

Генерал ожидал его. Залетавший в полуоткрытую форточку мягкий, по-весеннему свежий ветерок перебирал разложенные перед генералом листки. Курбатов узнал свое донесение: страницы были помечены синим карандашом.

— Садитесь, майор. — Генерал, нахмурившись, просматривал последние листки. Неожиданно он взглянул на Курбатова, улыбнулся, и лицо его, в крупных темноватых морщинах, также неожиданно помолодело. — Я с удовольствием прочитал ваш доклад... Действовали смело, решительно и... — здесь генерал сделал паузу, исподлобья глядя на сидевшего перед ним Курбатова. — Да, да, не смущайтесь!.. Отсюда закономерность успешного выполнения задания. Что ж, приятно, Валерий Андреевич, очень приятно...

Курбатов сидел так, что генералу из-за стола была видна только его голова с зачесанными назад светлыми, чуть золотистыми волосами да серые, внимательные, очень серьезные глаза. На маленькое ухо надоедливо спадала упрямая прядь, майор то и дело неловким движением руки прятал ее за ухо.

Генерал собрал листки, провел по сгибу ладонью и отложил их в сторону.

— Что еще новенького у вас?

Майор оживился. Похвалы всегда смущали его; в такие минуты Курбатова охватывало чувство странного беспокойства, неловкости. Теперь он приподнялся в кресле:

— За последние дни ничего особо интересного не случилось. Из управления пограничной охраны сообщают об обычных нарушениях границы. Задержание нарушителей и выяснение их личностей большого труда не представляют.

Курбатов остановился, ожидая, что скажет генерал. Тот достал из ящика светлозеленую папку и, не развязывая, отдал ее майору:

— Очень трудное задание я вам даю, Валерий Андреевич. Но оно вам по плечу. Познакомьтесь с документами, обмозгуйте. Потом посоветуемся.

Положив папку на сдвинутые колени, Курбатов медленно перелистывал бумаги. С первых же строк, прочитанных им бегло, майор громко чмокнул губами:

— Так это было двенадцать лет назад?

Генерал подошел к креслу и облокотился на спинку:

— Точнее, одиннадцать лет и семь месяцев.

Одним словом, очень давно, настолько давно, что... — он не закончил, вернулся к столу и сел, обеими руками поглаживая пролысины высокого, уже слегка загоревшего лба.

— Поглядите-ка на последний документ, — посоветовал он. — Это уцелевшее донесение немецкого агента, которое обнаружено в архивах разведки там, в Берлине. Не успели уничтожить.

Курбатов осторожно отодвинул верхние бумажки. Под ними была фотокопия; он прочитал ее в подлиннике, хотя снизу к ней был подклеен перевод. Агент R-354 доносил, что группа, перешедшая линию фронта в районе Солнечных Горок, провалилась в 1942 году, явка разгромлена, людей нет. Теперь Курбатов снова вернулся к первым документам — рассказу старшины Лаврова.

— Разрешите вопрос, товарищ генерал?

— Да?

— Когда найдено сообщение немецкого агента?

— Месяц назад.

— А рассказ старшины?

— Вчера. Вчера их принесла к нам одна девушка. Кстати, она сама шла с этой группой.

— Речь, конечно, идет об одних и тех же людях, — сказал Курбатов. — В октябре сорок первого прошли, в сорок втором провалились...

Генерал кивнул, сильно опираясь на край стола, словно отталкиваясь от него.

— В том-то и дело, что они не провалились в сорок втором году. В указанное время

никакая группа нами не разоблачалась. Это точно проверено. Они где-то здесь, у нас... Где сейчас эти пятеро? Что они делают?

Он вопросительно посмотрел на Курбатова. Но взгляд майора выражал такой же немой вопрос, и тогда они оба усмехнулись, сначала с иронией, а потом с горечью.

— Получили нового хозяина. Ведь они потеряли одного хозяина в сорок пятом, — сказал Курбатов.

— Да, но откуда это сообщение, что они уже арестованы?

Собеседники замолчали, каждый раздумывая. Генерал тяжело вздохнул:

— Видите, как много этих «но», «почему», «где»...

Он опять встал и прошелся по кабинету, похрустывая сапогами, потом встал у окна и, не оборачиваясь к Курбатову, сказал сухо и деловито:

— Кое-что я уже сделал. Послан вызов Лаврову, он будет завтра. Этот человек вам необходим. Надо позвонить в облисполком, Новикову. Это он был проводником тогда. Наконец, можно связаться с округом — выяснить, какая воинская часть обороняла этот участок фронта. Словом, подумайте пока...

Он поморщился, словно бы вспоминая, о чем он еще не сказал, но так, видно, и не вспомнив, протянул Курбатову руку: •

— Подумайте. Меня прошу информировать каждую неделю.

И, давая понять, что коротким этим приказанием разговор окончен, нажал на краю стола одну из белых кнопок.

По заводу шел нехороший, тревожный слух. Толком пока никто ничего не знал, и поэтому люди тревожились еще больше.

Утром директору «Электрика» позвонили из Москвы, из главка:

— Вы знаете уже, что случилось на Кушминской ГЭС?

— Нет, — встревоженно ответил директор, крепко прижав к уху трубку, чтобы не пропустить ни слова. — Нет, не знаю.

— Авария с генератором. Подробности и нам пока не ясны, но дело серьезное.

Кушминская ГЭС была неподалеку от города и, собственно, одна работала на город. Еще не представляя себе истинных размеров аварии и ее причин, директор быстро понял ее последствия. На ГЭС три генератора. Выход из строя одного заставит все предприятия города опять перейти на самые жесткие лимиты. И так с электроэнергией неладно, а теперь, выходит, будет совсем плохо. Конечно, этим делом займутся не только комиссии опытных инженеров, но и следственные органы.

С давних пор между заводом и ГЭС всегда была самая тесная, самая дружеская связь. Директор помнил, как еще фабзайчишкой он ездил на лето строить ГЭС — рыть котлован, ставить плотину, валить сосны. С годами связь крепла; после войны завод помог поднять полуразрушенную станцию. Совсем недавно там был поставлен повенький, последнего выпуска, генератор.

Он вызвал секретаря и попросил ее созво-

ниться с директором ГЭС. Разговор был в тягость обоим; тот скупно рассказал, что был взрыв, генератор разнесло. Да, он уже осматривал его. Пока трудно сказать что-либо определенное.

Вряд ли кто-нибудь на заводе острее переживал случившееся, чем Воронова. С каким трудом удалось ей добиться почетного права ставить на ГЭС новый генератор! Месяц она провела там и, что греха таить, гордилась тем, что именно ей на прощание рабочие преподнесли красивую хрустальную вазу. Меньше всего она думала сейчас о себе: ошибки в работе при установке быть не могло. В конце концов, все расчеты, все технические дневники сохранились, их нетрудно проверить. Но почему это случилось именно с генератором «Электрика», с тем, который ставила она? Ждать она не могла и пошла к главному инженеру. У того был народ, говорили о текущих делах, но видно было, что у всех на уме одно и то же. Катя вышла оттуда, так ни о чем и не спросив, — от этого стало еще тяжелее.

Наконец, мало-помалу, хотя никто их не созывал, начальники отделов собрались в кабинете директора. Но он, казалось, не замечал, что комната уже полным-полна, что все ждут. Он куда-то еще звонил, говорил что-то; его голоса за шумом не было слышно. Наконец, он оторвался от дел и словно впервые заметил десятки пар глаз, выжидающе смотрящих на него. Шум стих. Слышно было, как гудит на директорском столе маленький пропеллер-вентилятор.

Директор понял, что от него ждут, и начал говорить неторопливо, словно обдумывая каждую фразу. Никого не обманывала эта неторопливость: просто ему было так же тяжело говорить, как собравшимся — слушать. Он кончил, сделал паузу и спросил:

— Обсуждать, я думаю, не будем, еще ведь мало что известно.

— Будем, — отозвался кто-то возле его стола, и Катя приподнялась, чтобы лучше видеть.

Это был начальник конструкторского бюро Козюкин, — он сидел почти рядом с директором, в глубоком, очень удобном кресле (Катя знала: в это кресло не садятся — в него «погружаются») и курил, затягиваясь глубоко, всей грудью, а потом с силой выпускал дым вверх, следя, как прямая его струя клубится и растекается под потолком.

— Да нет, это я вообще сказал — «будем», — повел рукой Козюкин. — На мой непросвещенный взгляд, тут есть что обсудить и есть из чего сделать выводы. Так, быть может, я — напоследок.

Директор кивнул: как хотите.

Первым выступал главный технолог завода; он сказал две-три общие, ничего не значащие фразы. В иное время над ним бы добродушно посмеялись: за ним знали эту болезнь — выступать на любом собрании, по любому вопросу. Теперь все только поморщились, и когда технолог сел, облегченно вздохнули: на сей раз даже он понял, что сейчас не до туманной трескотни.

Выступать, однако, никто не хотел. Козю-

кин еще разок пустил тонкую, длинную струйку табачного дыма и мягко повернулся в кресле:

— Что ж, разрешите тогда мне.

Говорил он сидя. Он всегда говорил только так и потом подшучивал, что это его привилегия, как у героя Марка Твена — Гордона, который получил это право у короля за свою верную службу.

— Надо сказать, товарищи, — начал он, — что случай этот для нас, как говорится, «чепе» — чрезвычайное происшествие...

Он задумался, аккуратно гася в пепельнице папиросу, стараясь не запачкать пальцы, и все теперь смотрели на его пальцы, словно поторапливая их. Директор что-то чиркал в блокноте и хмурился, а потом невесело ухмыльнулся и сломал грифель карандаша, слишком сильно нажав на бумагу.

— Что же мы знаем? Разве мы знаем все технические причины аварии? — продолжал Козюкин. — Нет. Почему бы нам не предположить, что авария произошла в результате неправильной эксплуатации аппаратуры. Вы говорили, — он опять мягко повернулся в кресле к директору, — вы говорили, что авария, повидимому, есть результат несоответствия между техническими нормами и напряжением. Так ведь? Но здесь есть опять-таки «но»... Во-первых, это «повидимому» — точно ведь ничего неизвестно, а во-вторых... Во-вторых, зачем же вешать головы раньше срока, товарищи. Неприятно, конечно, это так. Но ведь наш завод — один из лучших в стране. Наша продукция всегда пользовалась заслуженной славой. На моей памяти что-то не было

случаев, когда нас обвинили бы в бракодельстве. Не было такого случая, кажется?

Катя слушала его, вся подавшись вперед. То, что говорил сейчас Козюкин, отвечало мыслям, которые она хотела высказать здесь. Правда, она высказала бы их сумбурно, несвязно, Козюкин же — он не говорил, он словно бы плавными движениями выносил слова, они были у него ровными, фразы — законченными.

Кате тоже казалось, что авария произошла в результате неумелого обращения с аппаратурой. В самом деле, она ведь видела сама, как генераторы, уже опробованные на заводе, мерно загудели там, на ГЭС. Козюкин, сказавший об этом, только поддержал ее мысли.

— Но может быть и другой, вполне возможный вариант, — доносился ровный баритон Козюкина. — Надо быть самокритичным и не валить всё на эксплуатационников. Может быть, при монтаже генератора на месте был допущен какой-либо просчет, не соблюдены до конца указания конструктора; короче говоря, была проявлена халатность. Я говорю — возможно. Возможно, но не факт. Кто у нас был на монтаже?

— Я.

Катя услышала не свой, а какой-то далекий, будто простуженный голос. Во рту у нее мгновенно пересохло, и, сказав это «я», она почувствовала, что больше вообще ничего не сможет сказать.

— Екатерина Павловна? У вас, конечно, сохранилась вся документация?

Она только кивнула в ответ.

— Ну, у меня всё, — развел руками Козюкин. — Предлагаю в нашу комиссию включить инженера Воронову...

Когда он кончил, собравшиеся почувствовали, как мало-помалу с плеч их сваливается гора. В тайниках души каждый твердо убеждал себя в том, что завод ни при чем в этой аварии; убеждал, но не хотел высказать вслух, чтобы не получилось печального «Иван кивает на Петра». Действительно, за многие годы это был первый случай. Еще один такой случай — давно, до войны — в счет не шел, там было просто вредительство: облили обмотку кислотой, чтобы она разъела изоляцию. Вредителя тогда поймали сразу же. Это было давно, мало кто помнил об этом.

Единственное, что еще могло тревожить, — это последние слова Козюкина о просчете Вороновой. Она молодой, очень способный инженер, но, конечно, могла ошибиться. Верить этому никто тоже не хотел, но пока причины аварии оставались неясными, это с трудом, с болью, но допускалось.

Катя вышла из директорского кабинета и бегом поднялась к себе. В шкафу, аккуратно сложенные, лежали кипы бумаги. Ключа от шкафа у нее не было, он открывался просто, самым обыкновенным гвоздиком. Она перебрала все чертежи, расчеты. Да, нетрудно будет доказать, что ошибки при сборке не было. Однако волнение не проходило. Когда один из конструкторов — пожилая, полная женщина, вошла в комнату, она увидела, что девушка стоит возле окна и плечи у нее вздрагивают.

Она подошла к Кате и плавным, материнским движением повернула ее к себе лицом.

— Ну что ты, глупая? Ну перестань, девочка, перестань, всё уладится. Даже если твоя вина — поймут, простят...

Совсем по-ребячьи уткнувшись в теплое, мягкое плечо женщины, Катя продолжала плакать. И оттого, что та утешала, гладила по спине, целовала в золотистые, венком кос уложенные на голове волосы, она заплакала еще громче и несдержаннее.

3

Над городом занимался рассвет. Серый, мутный квадрат окна, всю ночь неподвижно лежавший на полу, начал постепенно светлеть, ожил и пополз в глубь кабинета. Словно на проявляющейся фотобумаге, на полу появились линии, пока еще расплывчатые, незаметно переходившие в белесые пятна. Потом эти линии стали расширяться, их окраска — темнеть. Теперь они отчетливо пересекали квадрат окна, и Курбатов увидел перед собой на полу ясный отпечаток рамы, перекладин и даже маленького форточного крючка.

Был тот утренний час в то удивительное время года, когда весенняя ночь, кажется, не имеет ни начала, ни конца, когда сиреневое блеклое небо, кажется, только приподнимается над домами, пропуская в город бледное нежаркое солнце, и белая ночь становится таким же ласковым, мечтательным, чуть голубеющим днем.

Курбатов потянулся было к окну, чтобы

взглянуть в этот час на город, на его матовые крыши, на молочные шары фонарей, на молодую яркую зелень садов, но остался сидеть. Он не хотел расставаться с тем настроением, какое им владело с вечера, с того момента, как он пожал генералу руку и принял новое задание.

Первый час ушел на ознакомление с делом. Документов было совсем немного, и Курбатов просидел над папкой столько времени лишь потому, что перечитал их не один раз. Они запечатлелись в памяти настолько, что можно было уже мысленно переходить от строки к строке, перелистывать страницы и находить то место, которое необходимо. Курбатов спрятал папку в стол. Теперь всё дело находилось у него в голове, прочно въелось в какую-то извилину мозга и оттуда направляло все его мысли.

Мало, страшно мало еще для того, чтобы знать, откуда начинать действовать.

О чем рассказал старшина Лавров? О своей встрече с неизвестным патриотом, о словах, сказанных им перед смертью. Быть может, никогда не удастся установить не только имя этого старого человека, но и то, откуда в его руках оказался секретнейший приказ немецкого командования: «...группу, переходящую линию фронта, пропустить... Организовать ложный обстрел... В течение двух дней, предшествующих переброске, воздержаться от арестов, задержаний неизвестных на улице и т. д.» Что же приказ этот выполнялся немцами сравнительно точно...

Неважно, откуда пришел этот документ. Он

передавался из рук в руки, как эстафета. Быть может, и неизвестному старику его дал вместе с адресом подвала другой, такой же неизвестный, — но не в этом дело. Курбатов взволнованно потер ладонью лоб: теперь эта эстафета перешла к человеку, которому она и предназначалась, пусть фамилия его оказалась — Курбатов, а не какая-либо другая; он бережно принял ее, пусть годы и годы спустя, но с той же силой любви к народу, к стране, с той же заботой о ее безопасности, которая вела неизвестного старика, Лаврова, а может быть, и других через опасности, подчас смертельные. Как никогда Курбатов почувствовал себя приемником всех тех, кто упорно, настойчиво, не боясь за свою жизнь, нес ему эту весть.

О чем еще рассказал в свое время Лавров? В подвале было двадцать шесть человек. Себя он не считал, — всего, значит, двадцать семь. Ну, это надо проверить, позвонить в округ.

Лавров пытался запомнить людей. Трудно, конечно, ему было. Полутемный подвал, затем — ночь, сумерки...

Железнодорожник... Почему железнодорожник? Ах, потому, что на нем была фуражка! Тоже ерунда. Небось, он уже в велюровой шляпе ходит.

Девушка. Ну да, это Катя. Ее, пожалуй, Лавров и сейчас помнит, во сне видит, если не женился. Эх, молодость, — не мог лучше запомнить всех!

Нет, надо обязательно расспросить его обо всем. Но воды утекло порядочно, и Лаврову трудно будет вспомнить. Он, пожалуй, ничего не добавит.

Сорок первый год... Вон откуда надо начинать поиски.

А что он, Курбатов, делал в ту пору? Принимал взвод, привинтил первый кубик... Под Новгородом, недалеко от Солнечных Горок, рукой подать; тогда же — и на самолете не долетишь, собьют. Вот было времечко!

Где-то неподалеку от тех же Солнечных Горок, тогда еще ему неизвестных, погибла Женя, — ушла на операцию и не вернулась. Перебежчики рассказывали потом, что девушку схватили эсэсовцы, несколько дней мучили, а потом повесили в какой-то деревне на воротах. Нашлась и табличка, которая была приколота на ее груди: «Это ждет каждого советского разведчика?». Как знать, не будь Женя разведчиком, он, майор Курбатов, был бы сейчас тем, кем и до войны — инженером-сталелитейщиком. Но когда Женя погибла, когда оттуда, с той стороны, принесли эту табличку, Курбатов уже не сомневался в своем будущем.

Накануне ухода Жени на операцию они встретились, — девушка пришла к нему.

«Ну, пока?»

Она сама поцеловала его, тихо рассмеявшись его смущению.

«Пока... Я не знаю, когда вернусь...»

«Женя!»

«Не волнуйся за меня. Такая у меня профессия. Я очень люблю родину, Валерий... Больше, чем тебя. Больше, чем себя. Ты понимаешь это».

Она торопливо поцеловала его еще раз.

«Мы не маленькие, Валерий, я могу и не

вернуться. Но всё равно, я хочу, чтобы ты был счастлив... Ты понял меня? Вы поняли меня, младший лейтенант?» — шутливо переспросила она.

Ее фотография висит у Курбатова дома, и мать иногда, указывая на нее, тихо спрашивает сына: «А Нина Васильевна... понимает тебя?».

«А какие они сейчас, эти пятеро, — вернулся Курбатов к прежним своим мыслям. — Носят, конечно, другие платья, прически, галстуки. Может быть, сядут рядом в трамвае, смотрят из толпы на строящееся здание — ох, как быстро, как прочно! Они, наверное, уже обжились, уверены, что о них никто не знает. Ничего, голубчики, дайте срок, найдем».

Он подвел итоги своих размышлений: план покамест такой, — звоню в округ, затем в исполком — договариваюсь с Новиковым, встречаюсь с Лавровым. Надо побеседовать с Вороновой, она ведь пришла в подвал раньше старшины. Это пока всё. А сейчас — спать, спать.

4

Утром Курбатов позвонил в округ, и оттуда ему ответили, что начнут поиски подразделения, переходившего линию фронта в 1941 году, немедленно.

В облисполкоме Курбатов долго не мог разыскать Новикова, — тот куда-то уходил, его искали, затем советовали звонить по другому номеру. Курбатов терпеливо записывал номера телефонов — их накопилось уже с полдюжины, — не кладя трубку, нажимал рычаг,

вращал диск и спрашивал Новикова. Наконец, в трубке раздался густой, чуть хриповатый голос: «Да, это я, слушаю!» — и Курбатов договорился встретиться на следующий день вечером, после восьми.

Неожиданно в полдень генерал снова вызвал Курбатова к себе. Майор удивился: «Зачем? Я же ничего не успел сделать». Но, поднимаясь к начальнику, он подумал: наверное, поступили дополнительные сведения, которые, быть может, и наведут сразу на след. Подумав так и сразу по-деловому взволновавшись, майор почти побежал по ступенькам.

Генерал нервно ходил по ковровой дорожке. Как только Курбатов вошел, он повернулся к нему:

— Мне сейчас сообщили, что на Кушминской ГЭС произошла авария. Полетел генератор. Я думаю, что заняться этим должны вы, майор. Быть может, здесь есть связь с вашим заданием.

Курбатов слушал напряженно. Когда генерал сделал продолжительную паузу, видимо, ожидая вопроса, майор спросил:

— Техническое расследование уже было?

— Еще нет, ведь прошло всего два дня. Инженеры «Электрика», правда, винят эксплуатационников. Есть предположение одного инженера, что виноваты монтажники. На монтажников и раньше были жалобы. Но это всё требует квалифицированной проверки. Я попросил прекратить временно монтаж остальных генераторов серии. Вы же пока познакомьтесь с людьми. Генератор «Электрика» монтировали его работники. И побеседуйте

с Вороновой. Она руководила установкой генератора на станции. Вам нужно увидеть ее сейчас. Вот и начинайте отсюда. А на ГЭС пошлем еще одного сотрудника — он будет держать вас и меня в курсе всех дел.

— Слушаюсь, — ответил Курбатов.

«Начинать отсюда» — значило начинать с аварии, и если это преступление, вылазка невидимого пока врага, — то неизбежно должен оказаться след. Как ловко ни маскировался бы враг, совершивший это, он не в силах предусмотреть всех мелочей, которые, в конце концов, позволят раскрыть всю картину, найти преступника...

На завод Курбатов пришел затем, чтобы подробней узнать, где вся документация, чертежи, дневники монтажа, наконец люди, работавшие над созданием генератора... Если недавно, день назад, майор целиком был связан мыслями с документами, найденными в развалинах, сейчас он пытался представить себе, как, с какой целью могла быть устроена эта вылазка врага — если только это авария умышленная.

Стоя в проходной «Электрика» и ожидая, когда выпишут пропуск, Курбатов чувствовал себя неловко. Мимо него проходила окончившая работу смена, гулко звякали снимаемые с гвоздей номерки. Люди, возбужденные, еще не остывшие от труда, громко разговаривали, перекликаясь во дворе, и внезапно настороженно умолкали, заметив возле окошечка незнакомого человека.

Курбатов слышал, как, приближаясь к проходной, кто-то звонким, задиристым голосом, каким в деревне обычно поют частушки, выкрикнул насмешливые, видимо, очень веселые слова, и майор уже ожидал, что грянет смех. Но девушки вошли друг за дружкой в коридор, почти пробежали, заставив Курбатова прижаться к стене, и засмеялись уже на улице. Ему подумалось: люди вот уже поработали, и на душе у них весело. А я бездельничал... — он забыл, что всю ночь не спал и что раздумье — это тот же труд.

Пока он стоял, в проходную вошли еще двое, продолжая начатую беседу.

— И всё же одно из двух, — донеслось до Курбатова: — либо неправильная эксплуатация, либо грубая ошибка Вороновой привела...

Прошли двое: один — высокий, в свободном сером костюме, выбритый до синевы — разговаривал, сопровождая речь ровными движениями тонких, белых рук, словно пел. Другой шел нахмурившись, глядя себе под ноги.

— ...Я всегда говорил, что молодняк надо растить и учить... — еле расслышал Курбатов. — Воронова... без году неделя... ревела вчера, как девчонка...

Курбатов усмехнулся про себя: «Вот, не успел еще познакомиться с инженером Вороновой, а сразу столько знаю. Неплохое начало для знакомства. Судя по всему, она «наломала дров», и этот, высокий — надо полагать, один из ведущих работников завода, — говорит так резко не без причины...»

Сразу за углом проходной начинался заводский двор, широкий и просторный. По желтым стенам корпусов карабкался, цепляясь за реечные рамы, чуть зеленеющий плющ, на газонах уже пробивалась трава, и двор был похож на молодой сад, каких много появилось в городе после войны.

Вдоль асфальтовых дорожек белели нарциссы: вероятно, их посадили недавно — земля была еще рыхлая.

На секунду Курбатов задержался возле доски объявлений. Здесь сообщалось о репетиции заводского хора, о футбольном состязании с «Молотовцем», висел график занятий семинаров по изучению истории партии и — чуть пониже — объявление о том, что семинар Р. М. Козюкина переносится на среду.

...Нет, директор завода не много смог рассказать Курбатову: он сам еще знал слишком мало, но Курбатов договорился, что директор будет держать его в курсе всех дел, главное — в курсе работы комиссии на ГЭС. Будто вскользь он спросил, кто устанавливал генератор на ГЭС, и, услышав фамилию Вороновой, кивнул:

— Слышал эту фамилию. Говорят, способный инженер?

— Да, очень способный. Она сейчас подготавливает документацию... Вам позвать ее?

— Нет, нет, спасибо.

Курбатов задумчиво перелистывал лежавший на столе директора технический журнал. «Что прибавилось к материалам следствия? — думал он. — Да ровным счетом пока ничего, и, надо полагать, придется подождать не-

много... Во всяком случае, встреча с Вороновой и беседа не помешают».

Девушка вошла в кабинет Курбатова торопливо, словно ей не терпелось скорее рассказать о том далеком времени, когда она с группой беженцев переходила фронт — и хоть этим помочь, если только нужна ее помощь. Она волновалась, ей трудно было скрыть волнение, да она и не пыталась скрывать его. Курбатов встретил ее на середине комнаты и, подавая ей руку, назвал себя. Она ответила: «Воронова», — и когда майор пригласил ее сесть, она села, положив сумочку на колени.

Курбатов представлял ее себе именно такой. Простое, очень русское лицо, чистое и открытое. Такое встретишь десять раз на дню и не обратишь внимания. Косы, уложенные венком на голове. Рука — тонкая в кисти, а на сгибе среднего пальца, там, где обычно лежит вставочка, — небольшое чернильное пятнышко...

— Вы уже знаете, почему я вас пригласил?

— Конечно, я ведь ждала...

Катя ожидала, что майор заговорит первым.

Он спросил, давно ли она живет здесь, в этом городе, и Катя ответила — да, давно, двенадцать лет. До войны жила в Солнечных Горках. Когда началась эвакуация, гитлеровцы взорвали мост, сбросили десант и уйти удалось только через месяц с группой беженцев.

— Мне сказала соседка, — она тоже уходила. Вместе мы и попали в подвал. А откуда она знала, я даже не поинтересовалась... Не до этого было... Теперь она попрежнему в Солнечных Горках живет... Мария Ильинична

Кислякова... на старом месте. Я могу дать адрес... — она назвала улицу и номер дома.

Майор сразу же записал адрес в протокол и снова сцепил пальцы, не выпуская пера:

— Так, так, товарищ Воронова... Кстати, когда вы стали инженером?

— В электротехнический я пошла в год победы... Инженер я пока очень молодой.

Курбатов внимательно слушал Катю. У него складывалось определенное суждение о Вороновой.

— Верно, молодая... А что за цех у вас там в стороне? Я невольно обратил внимание. Корпус большой, а впечатление такое, что там никто не работает.

— Это специальный цех. Совсем недавно открыли, в связи с заказами новостроек, — и Катя рассказала, что там делают.

— «Молодняк», — вдруг улыбнулся Курбатов, вспомнив разговор в проходной. — «Без году неделя». Знаете, что это о вас говорят?

Катя удивленно взглянула на него. Она уже готова была ответить на это чем-нибудь резким, но вó-время вспомнила, что разговор сейчас не о ней, и только пожала плечами.

Курбатов спросил ее:

— Кто это у вас такой высокий, в сером спортивном костюме, руками вот так разговаривает?

Он развел руками, и Катя улыбнулась:

— Наш начальник конструкторского бюро, Козюкин. Очень хороший, старый инженер. Я у него в семинаре...

— В каком семинаре?

— По изучению истории партии...

— Ах да, я и забыл. Он у вас на заводе семинар ведет. И как — интересно?

— Интересно. Очень знающий человек. Так ведь он и в партии давно, так что есть что рассказать, помимо обычных материалов.

— Да, да, — кивнул Курбатов. — Но мы отвлеклись в сторону. Я слышал, у вас сейчас неприятности на заводе?

Рассказ был долгий, но он слушал ее, не перебивая; ему понравилось, что Воронова совсем освоилась и чувствует себя непринужденно. Так и должно быть, — ведь у них беседа, и только...

— В общем, всё сразу свалилось... — кончила Катя. — И эта находка... Я как прочла, что рассказ какого-то старшины касается шпионов, так к вам бросилась...

— Сразу и побежали?

— Да, сразу. Ведь шпионы по вашей части?

— Значит, прочитали?

— Сознаюсь, простите уж за любопытство... Но ведь это к лучшему, не правда ли?

Курбатов помолчал, думая. Но Катя, не ожидая вопроса, продолжала:

— Мне в глаза бросилось, что говорится о Солнечных Горках. И я сразу вспомнила тот день. Уж очень он какой-то особенный был.

— Кто же тогда находился в подвале? Кого-нибудь помните? — майор хотел было оборвать ниточку Катиного рассказа, а потом решил, — пусть говорит. Он только сильнее сцепил пальцы и не сводил взгляда с лица девушки. А она опустила глаза и медленно

перебирала концы шелковой косынки, накинута-
той на плечи.

— Кто же там был?.. Кто же?.. Честное слово, не припомнить... Соседка. Какие-то люди. Много людей... Вам ведь надо подробно? Да? — она посмотрела Курбатову в глаза и снова задумалась. — Мне тогда было только шестнадцать лет... Я никого не разглядывала. Мы ждали, с нетерпением ждали, чтобы скорей уйти. Боялись, что немцы найдут нас... Потом пришел моряк, я была около него... Нет, трудно... Сколько лет!.. Я, может, потом вспомню и скажу вам...

Курбатов понял состояние Кати, понял, что она действительно не помнит никого, кто был тогда с нею. Он протянул ей протокол — подписать, отметил пропуск и, встав, протянул на прощанье руку.

Лавров очень давно не был в этом городе. Последние годы он служил в одной из сухопутных частей: на флот из морской пехоты он так и не вернулся. После небольших городов всё здесь ему казалось исполинским — и здания, и улицы, и деревья. Он шел по краю тротуара, чтобы никому не мешать своим чемоданом, разглядывал прохожих, объявления, автомашины.

Через полчаса он вошел в дом на Петровском проспекте и, получив у дежурного пропуск, уже догадавшись, куда его вызвали, но не зная — зачем, поднялся на второй этаж, где была комната 39.

На его стук ответили: «Войдите!» — и он

толкнул дверь. В кабинете сидел мужчина в штатском. Лавров сначала хотел отдать честь, но передумал и только глухо щелкнул каблуками:

— Старший лейтенант Лавров.

Мужчина в штатском поднялся ему навстречу и, по-штатски же двумя руками пожав протянутую руку Лаврова, сказал:

— Курбатов. Очень хорошо, что вы прямо с поезда пришли сюда. Я вас ждал.

Он провел Лаврова к креслу, где только что сидел сам. Старший лейтенант вопросительно посмотрел на Курбатова.

— А-а! — засмеялся тот. — Сейчас всё поймете. — Майор сел за стол. — Вы приехали сюда в связи с делом двенадцатилетней давности. Помните, в октябре сорок первого года вы, старшина Лавров, перешли фронт в Солнечных Горках. Помните? Ну вот и хорошо... Вы сообщили комиссару госпиталя, что вместе с группой советских граждан фронт перешли и пять немецких агентов.

Лавров потер мгновенно вспотевший лоб.

— Разве с этим делом не покончено? — он от волнения не заметил, что выкрикнул эти слова.

— К сожалению, нет. Тот человек, комиссар госпиталя, которому вы передали документы, погиб во время бомбежки, на пути сюда. Бумаги нашли только сейчас, буквально три... нет, уже четыре дня назад.

— А я думал, пойманы... Давно, в первый же... ну во второй месяц... Полная уверенность. И не спрашивал, не интересовался... Потом был эвакуирован, лечился, попал на север.

— Да, это всё так. Мы и не виним вас. — Курбатов говорил спокойно, и Лавров тоже начал успокаиваться. — А вот теперь вы нам опять поможете. Ладно?

— Как же, надо обязательно найти! Вот жаль только... Ведь тогда я лучше помнил всё. И людей, и вообще...

— Ну, ничего, ничего. Не всё сразу. Позже я познакомлю вас с одним человеком, — может быть, вспомните вместе.

Он взглянул на часы, подошел к телефону и спросил в трубку:

— Брянецев еще здесь? Пусть зайдет минут через пять.

Потом майор вернулся к Лаврову:

— Ну, уже поздно. Спать пора. До свиданья. Вам приготовлен номер в гостинице. Это недалеко, рядом. Завтра утром приходите, поговорим. И пока очень много не думайте, спите крепко.

Лавров пошел к дверям. Курбатов проводил его. В коридоре Лаврову уступил дорогу высокий лейтенант с румяным юношеским лицом и черными, слегка выющимися волосами; открыв дверь, из которой Лавров только что вышел, лейтенант спросил:

— Звали, товарищ майор?

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Авария с генератором «Электрика», казалось, могла дать Курбатову то первое звено, за которым потянулись бы другие.

Разговаривая накануне с Вороновой, майор неотступно думал об аварии. Но техническая комиссия должна была приступить к расследованию только завтра. Не было известно, в чем же истинная причина аварии. Не имея выводов технической комиссии, Курбатов всё же решил начать расследование. С ГЭС посланный туда сотрудник сообщал, что нового пока ничего нет, поэтому Курбатов продолжал поиски пятерых.

План, разработанный Курбатовым и лейтенантом Брянцевым, был прост, и вместе с тем труден для исполнения.

Работник облисполкома Новиков, тот самый, который вел группу беженцев через фронт, также не смог вспомнить подробностей. Ценным в его показаниях было то, что среди беженцев был железнодорожник, раненный в руку (о котором сообщал и Лавров), музыкант со скрипкой да поныне живущие в Солнечных Горках жены ответственных работников с детьми. Помимо них, среди двадцати семи было десять военнослужащих красноармейцев во главе с лейтенантом — остатки взвода, выходившего из окружения.

С огромным трудом, после долгих поисков в архиве штаба округа, Курбатову удалось установить, что подразделение, вышедшее из окружения в октябре сорок первого года в районе Солнечных Горок, возглавлялось лейтенантом Седых.

Он отдал Брянцеву листок с фамилией Седых. Надо разыскать его. Потом он спросил у Брянцева — который час? Было уже шесть.

— Нам по пути, — сказал Курбатов, поднимаясь.

— Простите, товарищ майор, — ответил Брянцев. — Я начну розыски... сейчас.

— Сейчас? И сколько, вы думаете, это займет у вас времени?

— Не знаю точно. Ночь, может быть.

— Товарищ Брянцев, по ночам работать запрещаю... кроме исключительных случаев. Одевайтесь, нам по пути.

Они вышли в коридор, и Курбатов продолжал:

— Запрещаю, ничего не попишешь. Вы что сейчас читаете?

Брянцев, явно смущенный, что-то буркнул в ответ.

— Вот видите — и не поймешь толком, что. А читать надо. С женой когда в театре были?

Опять Брянцев буркнул что-то невразумительное.

— А я на днях на «Хованщине» был, — вдруг сказал Курбатов. — Вы слушали «Хованщину»? Нет?.. Ох, позвоню я вашей жене, — погрозил он пальцем, — да и скажу...

— Она не обижается, — сказал Брянцев.

Курбатов накинулся на него:

— Что, что? Вы думаете, ее дело мужу щи варить, воротнички стирать да ждать его? Нет? Ну хорошо, что так не думаете. А другие думают...

— Кто? — поднял голову Брянцев.

— Заглянул я в кой-какие наши книжки. Диву даешься: и личной жизни ни у кого нет, и любить герои не умеют, и, чёрт побери,

рюмки водки не могут выпить. Нельзя так жить, как эти герои книг, — закончил он, до-трагиваясь до рукава Брянцева. — А вы почему-то захотели им подражать...

— Нет, — сказал Брянцев, — мне просто кажется, что есть дела, не терпящие отлагательства. Мы же — не завод...

Курбатов качнул головой:

— Помните у Маяковского: «Я чувствую себя заводом, вырабатывающим счастье». Мы особый завод, товарищ лейтенант. Ну, до завтра.

;

Утром Брянцев заказал разговор с Москвой и, на всякий случай, со штабом округа. Через три часа ему сообщили, что гвардии подполковник Седых, Герой Советского Союза, служит в тридцать шестой дивизии. Брянцев знал: дивизия эта сейчас недалеко, в Бережанском районе. Он позвонил туда по прямому проводу. Подполковник Седых был на месте.

— Позвать его к телефону?

— Нет, не надо звать, благодарю вас.

Брянцев положил трубку и пошел к Курбатову.

— Отсюда и начнем тогда, — сказал майор, выслушав Брянцева. — Седых в части, говорите? Что ж, поехали знакомиться.

Брянцев позвонил и вызвал машину, а Курбатов подошел к карте, отыскал Бережанский район и берег озера, где стояла на летних квартирах дивизия. «Далековато, дома будем, стало быть, только под вечер». Курбатов

спустился в столовую и взял несколько бутербродов себе и Брянцеву.

Кончились низенькие домики пригорода, потянулись поля, по которым шагали к горизонту стальные линии высоковольтной передачи. Началась роща. Дорога пересекала ее и по бокам колыхалась свежая, словно промытая до блеска, зелень берез. Шофёр, знавший нрав Курбатова, дал газ, и машина вскоре выскочила на бережанское шоссе, широкое и пустынное. Тут шофёр мог выжать все восемьдесят, не спрашивая. Брянцев заулыбался, — он тоже любил быструю езду.

В лагерь они вошли пешком, оставив машину на шоссе. Сержант с контрольно-пропускного пункта объяснил им, как найти Седых:

— Он сейчас, наверно, отдыхает уже. Вон его дом, у озера. А нет, так в штабе.

По узкой дорожке они подошли к маленькому домику, стоявшему в глубине сада. Внезапно Курбатов остановился возле забора, вглядываясь, что происходит там, за густо разросшимися кустами акаций и жимолости.

Двое детей с радостным визгом носились за высоким мужчиной в майке. Старшая девочка бежала, высоко подбрасывая острые коленки, а младшая отставала и забегала сбоку, потешно разводя руками: «Ага, поймался!». Потом мужчина, схватив обеих девочек в охапку, повалился на траву, и они барахтались в его сильных руках, всё повторяя: «Ага, поймался!» — хотя неизвестно было, кто из них «поймался».

Быть может, потому, что майор Курбатов

в свое время потерял любимую девушку, а новое чувство, пусть не менее сильное, владевшее им уже не один год, было более мужественным, более строгим, — он испытывал каждый раз странное смущение перед чужим семейным счастьем. Так и теперь у него защемило в груди, — не зависть, а скорее легкая грусть по тому, чего у него пока еще нет.

Минуту спустя они входили в калитку.

Седых быстро поднялся с земли, снял с ветки китель и, застегнувшись на все пуговицы, протянул руку:

— Седых.

Девочки стояли позади, недовольные, что их игру прервали, и ожидая, что сейчас эти двое уйдут, папа снимет китель и снова начнется возня.

— Нам нужно с вами поговорить.

Седых жестом пригласил пройти дальше. Там, под деревьями, стоял стол, врытый в землю, и две скамейки. Солнце, пробиваясь сквозь густую листву, бросало на доски стола матовые блики.

Разговор начался как обычно. Помнит ли подполковник тот день, вернее, ту ночь? Ну, конечно, разве это забудешь. А тех, кто с ним шел? Да, тоже, хотя многих уже нет, погибли в боях. Брянцев предложил бумагу и карандаш. Седых начал писать столбиком фамилии, морщился, припоминая, но писал, делая сбоку пометки:

— Пятеро, стало быть, погибли. Один из моих, узбек, сейчас на родине, пишет мне, не забывает, растит хлопок. Трое... точно вот не могу сказать, где они сейчас — Коршунов,

Головлев и Морозов. До войны двое из них были токарями, а Морозов — фрезеровщик.

— Девять, — сказал Брянцев. — Десятый вы. А еще один?

— Задуйвитер служит на Украине, офицер. Я с ним до Берлина дошел.

Брянцев сиял, а Курбатов хмурился. Всё шло ровно, слишком ровно. И, вместе с тем, — ничего определенного, точного, с чего бы можно было начать розыск. Он взял у подполковника его записи и попытался представить себе всех этих людей. Среди них не должно было быть тех.

— Вы всё время были вместе? — спросил Курбатов. — Из десяти человек никто не отлучался тогда, в окружении?

— Н-нет... Мы шли километров полтора, больше лесами.

— Куда?

— На восток. К Солнечным Горкам. Правда, за две недели до Солнечных Горок мы встретились с партизанами...

Курбатов сел поудобней, словно собираясь выслушать долгий рассказ.

— В операциях мы участия не принимали, так как были измучены переходами. А партизаны при нас собирались взорвать водокачку...

— Хорошо, — сказал Брянцев, — а в лесу из ваших никто не уходил, никого вы куда не посылали?

— Я ведь еще не кончил, — ответил подполковник, и Курбатов лукаво взглянул на Брянцева: то-то, учишь терпению! Подполковник тут же добавил: — Посылал. Трое пошли с одним человеком, кажется с председа-

телем райисполкома, к Солнечным Горкам на рекогносцировку. Тогда мы уже думали о том, как бы перейти линию фронта. Они наскочили на отряд немцев и приняли бой. В бою все рассеялись и собрались по одиночке дней через пять-шесть.

Курбатов подался вперед:

— Кто это?

Брянцев увидел, как в зрачках у Курбатова появились злые огоньки.

— Коршунов, Головлев, Морозов.

— Больше никто куда не отлучался?

— Нет, остальные были со мной.

Брянцев понял: эти трое, или хотя бы один из них, могли за эти дни попасть в плен, быть завербованными... Проверка здесь нужна обязательно. Курбатов думал о том же.

Наступил вечер, когда они сели в машину; шофёр включил свет.

— Ну, что вы скажете, Константин Георгиевич? — спросил Курбатов.

— Чёрт ногу сломит, — ответил Брянцев. — Может, эти трое тогда попросту уходили от преследования.

— Посмотрим, — Курбатов закрыл глаза. — Вы завтра же займетесь розысками музыканта. Никаких данных о нем пока нет. — Откинувшись на сидении, он смотрел в окно и мысленно подводил итоги.

Было двадцать шесть. Десять — военнослужащие. Среди них нужно проверить троих. Да вот еще женщина, Кислякова, — она разошлась с мужем, живет в Солнечных Горках одна, работает в райконторе связи.

О чем еще говорил подполковник Седых?

В операциях партизан они участия не принимали, да и сами партизаны еще не наладили как следует свою борьбу в ту пору. Только взорвали водокачку...

Брянцев вздрогнул от неожиданности, когда майор резко повернулся и, дотронувшись до плеча шофёра, приказал:

— Назад в дивизию.

Отыскав подполковника, Курбатов спросил:

— Те, кто взрывал водокачку, — вернулись?

— Не все, при нас вернулся только один, — кажется, железнодорожник, раненный в руку.

— А где во время взрыва был Новиков, председатель райисполкома?

— В Солнечных Горках. Ну да, он нас привел в подвал, и примерно в это же время туда пришел этот железнодорожник.

— Спасибо. Извините, что побеспокоили.

И вот снова дорога, но ночь уже сгустилась, и шофёр вел машину осторожней.

— Вы поняли? — тихо спросил Курбатов у Брянцева.

— Я понял, что вы хотели узнать, но не понял еще, что мы узнали. Если этот железнодорожник пришел в подвал один, стало быть, он знал адрес.

2

Примерно за неделю до того как генерал передал Курбатову новое задание, на «Электрик» приехал Позднышев — видный инженер-энергетик. Здесь налаживали производство выключателей для высоковольтной сети, скон-

струированных им, и работники завода нуждались в его помощи.

Позднышев снял номер в гостинице, но, казалось, жил на заводе. Там ему отвели кабинет — маленькую комнатку, единственным своим окном выходящую на крыши сборочных цехов, а дверью — в коридор. В кабинете он бывал редко и всегда с новыми друзьями — инженерами, большей частью молодыми.

Молодежь к нему льнула. Позднышев обладал неистощимым запасом добродушия и веселья и был очень талантлив, а молодежь всегда тянется ко всему талантливому.

Тем временем на ГЭС шло расследование аварии генератора. Позднышев не состоял в комиссии, но не мог не заинтересоваться делом, тем более что обследовавшие так и не могли сказать последнего слова: генератор разбит, а в документации никакой ошибки нет. Сошлись только на одном: инженер Воронова вела монтаж генератора правильно. Катя вздохнула с облегчением, но на душе у нее — и не только у нее — остался неприятный осадок. Кто же всё-таки виноват в аварии?

Козюкин — тот лишь снисходительно улыбался:

— Заседали, заседали... Чай гоняли, бумагу портили и нервы себе и другим, а результатов нет?

Встретив Воронову, Козюкин еще издали протянул ей обе руки:

— Здравствуйте, племя младое, — раздавался сверху его баритон: он был выше Кати чуть не на две головы. — Вас-то, во всяком

случае, можно поздравить, и... простите мне, Христа ради, мои мыслишки, что это вы напартачили. Каюсь, каюсь, Екатерина Павловна.

Катя освободила свою руку из его двух: рукопожатие оказалось чересчур долгим.

— Вы так убедительно говорили тогда, на летучке, — ответила она, — что я даже сама готова была поверить...

— И плакали, Екатерина Павловна, знаю... Ну, виноват, виноват, еще раз простите... Вы куда? К себе? — Он собирался взять ее под руку.

— Нет, в цех.

— А-а, ну, нам не по пути. Кланяюсь, Екатерина Павловна.

По дороге в цех Катя снова заглянула к Позднышеву: взять сделанные в синьке чертежи. Позднышев обрадовался ее приходу:

— Ну что, Катюша, у вас сегодня гора с плеч свалилась?

— Всё равно с завода пятно не смыто. Всё равно, быть может, кто-то из нас виноват.

Дверь тихонько отворилась. Вошел главный бухгалтер Войшвиллов, сидящий, чуть сутулый старик. Он спросил насчет какой-то накладной, потом, взглянув на оживленное лицо Кати, с улыбкой спросил:

— Радуетесь?

Катя смутилась. Позднышев сунул трубку в карман и вышел в коридор, сказав Кате:

— Я в цех, скоро вернусь.

Бухгалтера он пропустил вперед. В коридоре старик обернулся к Позднышеву:

— Что, довольна дивчина?

— А как же ей не быть довольной?

Бухгалтер потер переносицу:

— Да, комиссии проверяли тщательно. Ошибки быть не может.

Позднышев замедлил шаг, громко хрустнул пальцами:

— Я, по правде, недоволен расследованием. Слишком поверхностно всё-таки.

Старик тревожно заглянул Позднышеву в лицо. Инженер продолжал:

— Конечно, поверхностно. Как-никак, этот генератор — вещь новая, сложная. Тем более, скоро на крупнейшие стройки будем работать. Вдруг чего-нибудь недоучли, не научились. Расчеты надо посмотреть. Хоть Козюкин и большой авторитет, но...

При упоминании имени Козюкина лицо бухгалтера внезапно побелело. Но Позднышев не искал глазами собеседника. Он смотрел на свои похрустывающие пальцы, погруженный в размышления.

— Вы не видели Козюкина? Где он? Хочу сам разобраться, что к чему... Да я, собственно-то говоря, уже начал.

Бухгалтер вдруг заспешил:

— Мне — в отдел. До свидания, Никита Кузьмич.

Семенящими, частыми шажками он пошел по коридору, поглаживая на ходу седой «ежик».

В цехе Позднышев был недолго, около часа, и когда вернулся, Катя сказала ему, что его спрашивали по телефону. Кто? Она не

знает. Позднышев пожал плечами и сел за чертежный стол.

— Глядите, Катюша, товарищи, подите сюда! Прессы мы будем устанавливать так, чтобы...

Его оборвал телефонный звонок. Еще продолжая объяснять, как будут установлены прессы, Позднышев снял трубку и кивнул инженерам, — обождите.

— Да? Да, я... Кто? Василий? Не может быть!

Он рунулся, что плохо слышно: «Что это у тебя телефон позапрошлого века?» — спрашивал, как Василий очутился в городе и когда они встретятся.

— Сегодня?.. Хорошо. Где?.. — Тот что-то говорил, и Позднышев кивал: — Да, знаю, знаю... Через час?.. Ладно, отдохну сегодня. — Он положил трубку и, улыбаясь, обернулся к инженерам:

— Друг звонил, — тоже электрик, уралец, замечательный человек. Ну, я поехал веселиться. Чтоб вы сегодня на заводе не торчали! Суббота, надо отдыхать и веселиться.

Но Катя ушла поздно. Она поднялась в конструкторское бюро, прошла к «рабочему месту», как любила она называть свой столик, и по пути закрыла дверцы шкафа. «Почему он открыт?» — на секунду удивилась она и тотчас забыла об этом, зажигая лампу.

Забыла потому, что увидела из окна: перед воротами, на улице, стоит Лавров.

Курбатов познакомил их неделю назад, они по началу не узнали друг друга, а потом

Лавров, узнав Катю первым, почему-то смутился, даже порозовел:

— Это вы!

Что ж, они были давними знакомыми, и ничего удивительного не было в том, что Лавров ждал теперь Катю на улице.

3

В эту же субботу вечером Козюкин пришел в старый серый дом, фасадом выходивший не на улицу, а во двор, где один возле другого теснились сарайчики, поленницы дров, а над ними — ржавые голубятни. Нужная ему квартира была на шестом этаже, под самой крышей; на площадке было темно, и Козюкин, чертыхаясь про себя, долго чиркал спички, отыскивая кнопку звонка.

— Кто там? — спросили из-за двери.

— Я пришел по просьбе товарища Крупкина, — ответил Козюкин. — Это вы просили поставить вам телефон?

И, хотя Козюкин, в габардиновом плаще и зеленой шляпе с витой тесемкой, меньше всего походил на монтера, там, за дверью, звякнула цепочка и петли скрипнули.

Раздевшись не в прихожей, а в комнате, Козюкин поежился. Ему было холодно здесь, в неуютной, необжитой квартире. У него же дома кабинет был отделан под мореный дуб и висело несколько пейзажей, показывая которые, он любил небрежно кинуть гостю: «Куинджи»...

Человек, впуславший его, сидел теперь молча возле открытого окна и, казалось,

наслаждался тишиной вечера. Козюкин усмехнулся и спросил иронически:

— Любуетесь?

— А что ж, — ответил Ратенау — он же Войшвиллов, главный бухгалтер завода «Электрик». — Любуюсь. Разве не красиво?

Козюкин тоже подошел к окну. Прямо под ним начинались крыши соседних домов — море крыш, с трубами, флюгарками, антеннами.

— Да, действительно, пейзаж. Вы знаете, как об этом писал Блок?

— Надеюсь, вы пришли ко мне не за тем, чтобы цитировать Блока?

— Почему же, — несколько обиженно произнес Козюкин. — Как говорят французы, каждый овощ подается в свое время.

Ратенау молчал.

— И всё-таки я вам процитирую: «Что на свете выше светлых чердаков, вижу трубы, крыши дальних кабаков».

Теперь усмехнулся Ратенау:

— Это верно: только кабаки вы и видите. Хотите самую что ни на есть российскую, а не французскую поговорку: кто о чем, а шелудивый — о бане.

Он с удовольствием увидел, как этот длинный, элегантный мужчина вдруг сделался словно ниже ростом, куда-то пропали мягкие плавные движения рук, рассчитанная улыбка. Ратенау даже показалось, что у гостя дрогнули и поползли вниз кончики губ, точь-в-точь как у обиженного подростка. Ратенау встал и закрыл окно. Шум города, звонки трамваев, музыка в парке — всё осталось по ту сторону

окна; здесь, в комнате, стало совсем тихо, и слышно было, как на кухне урчит в плохо завернутом кране вода.

— Итак, зачем вы пришли? Я же говорил вам, — только в крайних случаях!

Козюкин вдруг обозлился:

— Откуда вы знаете, что сейчас — не крайний случай? В конце концов, мы оба делаем одно дело — вы и я. Не надо этой иерархии, начальников и подчиненных: если нас поймают, так поставят к одной стенке.

— Бойтесь? — прищурился Ратенау. Козюкин только плечами пожал в ответ, — жест, обозначавший: бросьте валять дурака, вы сами бойтесь. Ратенау догадался, смолчал, и тогда уже Козюкин понял, что молчание было здесь воистину знаком согласия.

На самом деле никакой особой крайности не было, — просто Козюкин обнаружил, что денег у него уже нет. Должны же они платить — не только за дело, а хотя бы за эту вечную угрозу оказаться там, где нет ни кабинетов мореного дуба, ни картин Куинджи.

Первым нарушил молчание Ратенау. Он спросил так, словно у него болели зубы, а тут еще пришел назойливый проситель:

— Ну, что там у вас?

Из кармашка для часов Козюкин вытащил во много раз сложенную бумажку и протянул ее, зажатую между большим и указательным пальцами. Ратенау и здесь помедлил, прежде чем взять ее; взял, наконец, развернул, пробежал глазами несколько строчек напечатанного на пишущей машинке текста и небрежно сунул себе в карман. Потом так же

медленно достал из другого кармана пачку денег и, не глядя, протянул Козюкину. Тот взял их с усмешкой. «Пачка двадцатипятирублевых, начатая, — отметил он про себя, — рублей четыреста, не больше».

— Это, однако, пустяковые сведения... — попрежнему не глядя на него, сказал Ратенау. — Я, не выходя из бухгалтерии завода, могу знать о том, что творится в главке. У вас колокольня повыше. Мне кажется, вы получаете много, а даете мало.

— Три года назад... — начал было Козюкин.

Ратенау перебил его:

— Забудьте о том, что вы делали три года назад. Мы должны жить сегодняшним днем.

— Вы знаете, что попытка с генератором удалась? — спросил Козюкин. — Это сегодняшний день.

Ратенау кивнул:

— Да, слышал.

— Пока вышел из строя один, комиссия сбилась с ног в поисках причин аварии. В течение месяца выйдут из строя все двенадцать, и тогда...

— И тогда, — подхватил Ратенау, — этим займутся чекисты. Они придут на завод, перевернут всё вверх дном и обнаружат, что начальник конструкторского бюро Козюкин вовсе не такой уж честный человек, как это казалось. Кандидат наук... член партии... воплощение критики и самокритики... Об этом вы подумали? Я предупреждал вас: портить один, а не всю серию.

— Я всё обдумал, — кротко улыбнулся Ко-

зюкин. — Во-первых, серия пошла в производство по чертежам, где нет моей подписи. Я был всего лишь консультантом, и расчет обмотки... ну да эти технические подробности не для бухгалтерского уха... я писал расчет, я диктовал его соплякам-мальчишкам, а когда почтенный профессор Суровцев, мой дражайший учитель, узнал, что консультантом был я, он в порядке творческого содружества даже не стал проверять их, а подмахнул своим вечным пером. Вот и всё... Что?

— Я ничего не говорил. Что дальше?

К Козюкину вновь вернулось самообладание. Он снова не говорил, а пел:

— Что еще? Еще я, на всякий пожарный случай, добрался до дневников монтажа этой тупицы Вороновой — знаете ее? Я остороженько стер пару цифирей и... что я написал там? Те же самые цифири и положил всё это дерьмо назад в шкаф. — Он даже рассмеялся, довольный. — Вы понимаете меня? Кое-кто пошлет кое-куда письмо. Кое-кто ринется исследовать эти расчеты и найдет надпись на стертом. Ясно: верные цифирьки взамен неверных. И кое-кто третий — эта бедная очаровательная девица — отправится кое-куда, а потом на нее свалятся в придачу двенадцать других генераторов, потому что она делала для них ряд работ. А?

Он ждал одобрения, ждал мучительно; Ратенау склонил голову:

— А дальше что?

— Что дальше? — Козюкин даже привстал от волнения. — Дальше я критикую директора. Я веду семинар по политическим

дисциплинам. Дальше я превозношу велико-
лепное изобретение инженера Позднышева.

— И пишете некролог.

— Некролог? — удивился Козюкин. — Я видел его...

— Я тоже видел его. Еще сегодня и много раньше. И мне этот Позднышев никогда не нравился. — Ратенау смотрел на Козюкина злобно. — А вы знаете, что через пару дней провалитесь? Этот Позднышев намерен просмотреть все расчеты. Уж от него-то, будьте уверены, ничего не скроется. Я его слишком хорошо знаю. Ну, Позднышева я возьму на себя... Что еще вы собираетесь делать? Ну, не бойтесь, мы всё-таки вас достаточно ценим и так просто не отдадим.

Но Козюкин кончил свой отчет вяло:

— Заодно делаю пару нормальных работ. Кстати, чертежи генераторов для новостроек, посланные в Москву, безупречны.

— Почему? — насторожился Ратенау.

— Это надо понять. В Москве сидят люди не лыком шитые, они увидят, что к чему.

— Вы не выполняете приказ. — Он с особой силой подчеркнул это — «приказ». — Не надо было тогда фокусничать с этими генсратора́ми, надо было начинать сразу с тех.

Козюкин досадливо махнул рукой:

— Что я, сопляк, что ли? Всё сделаем после.

Ратенау ответил на это: «Смотрите же», — встал и начал надевать шуршащий макинтош.

— Вы уходите? Куда? — удивился Козюкин. Ратенау не ответил; вопрос был задан на-

прасно. Козюкин взялся за шляпу и помял поля, опустив глаза.

— Слушайте, а что же с Позднышевым? — не утерпел он.

— Вы... — Ратенау не мог надеть макинтош, рукав где-то запутался, и старик покраснел от усилий. — Вы... задаете... много вопросов. Выходите на улицу и не ждите меня.

Он пошел закрывать за Козюкиным дверь и сказал:

— Вы сегодня были неподражаемы. Почему вы не актер, а? И скажите, вы в самом деле так обозлены на них или тоже играете?

Козюкин вздрогнул. В последних словах ему почудилась откровенная угроза. Он ответил поспешно, пожалуй даже чересчур уж поспешно, пытаясь скрыть внезапный страх:

— Я очень зол.

Ратенау ушел несколькими минутами позже — сухонький, безобидный на вид старичок в старомодной шляпе и в макинтоше.

Козюкин оказался прав: в пачке было четыреста рублей с небольшим, — сумма не очень-то значительная, особенно если учесть, что она была получена за три недели работы. За генераторы ему еще не заплатили. Он прикинул: в августе можно будет съездить в Сочи, обязательно одному. Нервы начинают сдавать. И все требуют денег. Накануне звонила теща, мать покойной жены. Асенька выросла из своего драпового пальтишки, оно у нее и на рукавах прохудилось. Девочка должна ехать в пионерский лагерь, а белье у нее

старенькое, так не могли бы вы... Он ответил, что с деньгами у него сейчас туго, живо перевел разговор на другое и попросил к телефону Асю. Говорил с ней, как со взрослой, чуть покровительственно, справился об успеваемости, а когда кончился разговор, трубку бросил с раздражением. Да, шалят нервы...

Сейчас он вспомнил вопрос, заданный ему Ратенау: «В самом деле вы озлоблены, или это тоже игра», — вспомнил и усмехнулся. Уж кто-кто, а Ратенау мог и не спрашивать его об этом.

...Давно, еще в середине двадцатых годов, Козюкина, в ту пору молодого специалиста, только что кончившего Ленинградский политехнический институт, вызвал к себе в губком один из руководителей оппозиции.

— Мы отправляем вас в Нейск, — услышал Козюкин. — Положение таково, что оппозиция должна затаиться на время. Сигнал будет вам дан.

В Нейске на заводе проходили собрания. Директор завода, бывший рабочий Голованов, огромный, угрюмый, в гимнастерке, подпоясанной ремнем, говорил, поднимая тяжелый кулак:

— Громить их! Всю эту погань, этих господ из вчерашних с партийными билетами. Говорят — авторитеты, личности выдающиеся! А если личность загнивает — вон ее! Правильно я говорю? Партия — вот авторитет...

— Верно!

Козюкин хлопал вместе с другими, а

в душе у него всё росла и росла злоба к этому могучему человеку, к этим людям в зале, у которых тоже руки были грубыми и сердца непримиримыми к врагам.

Случайно познакомившись с учителем музыки в темных очках, Козюкин почувствовал своего человека и выложил ему всё. Учитель кивал, поддакивал, а потом однажды спросил в упор:

— Будете работать со мной? Здесь есть организация... Платим пока немного.

Козюкин согласился. Комната в Ленинграде с окнами на Неву, деньги, обстановка, женщины — всё это стало вдруг близким и потому еще более желанным.

Однако человек этот исчез из города через два дня после того как был убит директор завода. Козюкин озлобился еще больше, замкнулся.

Он слышал о провале целых организаций то там, то здесь, и глубже, как можно глубже, залезал в свою скорлупу. Он уже начал бояться того, что в один прекрасный день к нему кто-нибудь придет и скажет: действуйте. Он переменил жилье. Переехал в другой город. Ожидая, пока буря утихнет, подлаживался, приспособливался — и после чистки рядов партии Козюкин с облегчением понял, что буря прошла мимо. Никто не узнал, что он состоял в оппозиции.

В сорок шестом году, осенью, он шел с работы и заметил человека в плаще и кепке, надетой на лоб. Незнакомец явно преследовал Козюкина. Он остановился и стал читать газету. Человек подошел и встал рядом.

— Вы меня не узнаете? — спросил он, не отрываясь от газетных строк. — А я вас сразу узнал. Помните Нейск?

Это был Ратенау.

Сидя в кожаном кресле в своем кабинете, Козюкин вспомнил всё это почти с фотографической отчетливостью. Он уже не молод — ему за пятьдесят. У него спокойная жизнь — спокойная квартира, спокойные зеленоватые обои, даже радио нет. У него степень кандидата наук. Дочь, которую он не знает и не любит, как не любил жену — одну из многих женщин, которые у него были и которых он тоже не любил.

Повторилось в памяти и сегодняшнее свидание с Ратенау. Он прав: Позднышев, этот крупнейший советский инженер-энергетик, действительно упорен, может докопаться до корня. Но Ратенау недвусмысленно дал понять, что Позднышева больше опасаться нечего. Почему?

Козюкин завидовал Позднышеву. Порой к этой зависти примешивалось и уважение — особенно после того как он прочел статью о Позднышеве в американском журнале «Электрик джорнал». Всё, что писалось в Америке о советской науке, было для Козюкина откровением. Достаточно было ему прочесть в американском журнале, что Позднышев «звезда первой величины», чтобы потянуться к этой «звезде». Ведь его похвалили в Америке!

Америка была для Козюкина мечтой. Незадолго до войны он встречался с американскими журналистами. Они восторгались заво-

дом и говорили: да, хозяину такое предприятие принесло бы не один миллион. И Козюкин подумал — вот бы иметь свой завод! Он гнал от себя эту мысль, но она возвращалась. Свой завод! Свой прибыли! Свой пакет акций!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Когда они лежали на пляже, Лавров видел залив, уходящий к сиреновой дымке горизонта, и чуть наклоненный, скользящий по заливу легкий парус.

Катя лежала рядом на песке, локоть к локтю, и ему подчас неловко становилось от этой близости. Он видел, как песчинки прилипали к ее порозовевшей на солнце коже, и чувство, похожее на восторг, охватывало его всякий раз, когда она поворачивала к нему лицо и они встречались глазами. Она вскакивала и бежала в воду, сначала с опаской вступая в белые пенки на отмели, а потом бросаясь вперед, поднимая радужные брызги. Тогда он вставал и шел следом за нею.

На пляже они были вдвоем. Курбатов и его знакомая, Нина Васильевна, оставили их, сказав: «Мы пройдемся по парку», — потом вернулись, и снова ушли. Лавров спросил Катю:

— Они нас оставили нарочно, как вы думаете?

— Я в этом уверена, — улыбнулась Катя. — Не надо было отпускать их, если уж вместе приехали.

Лаврову хотелось сказать: «Всё-таки хорошо, что мы одни. Я вас люблю, Катя». Но он смолчал, задумчиво пересыпая с руки на руку песок.

Ему было трудно выговорить эти древние, но вечно новые слова. Если бы он наконец-то решился, он не смог бы ограничиться только ими, только тремя. Он говорил бы о всем, что его волновало, тревожило и мучило...

Вечером они встретились с Курбатовым и его знакомой и пообедали, слушая музыку, лившуюся из парка.

— Просто не верится, что всё это было здесь, — сказал Лавров.

— И тем не менее... — Курбатов сидел, сжимая бокал в ладонях. — Я только что был в том подвале.

— Где? — Катя и Лавров взглянули на него с недоумением.

— В том подвале, откуда вы ушли двенадцать лет назад. Мерзкое помещение. Холодно, сырость на стенах. Ничего, конечно, не нашел.

Катя не выдержала:

— Сами привезли нас отдыхать, мы валялись там на песочке, а вы — на другой конец города! И Нину Васильевну с собой потащили. Это... это нечестно.

— Ну, вот уж и нечестно, — рассмеялся Курбатов. — Зато теперь я совершенно точно представил себе, как всё это выглядело. Даже нарисовать могу.

Они еще гуляли по парку и вспоминали — аллеи, статуя, грот... Потом прошлись по Солнечным Горкам. Действительно, Горки были

солнечные в этот вечерний час: солнце спускалось, и косые его лучи заливали прямые улицы. Катя нашла место, где раньше был ее дом. Теперь там стоял другой, трехэтажный, — санаторий Министерства связи.

На закате они собрались в город. Народу уезжало много, вокруг них пела, смеялась веселая, многоликая толпа.

Но этим не кончился выходной день. С вокзала Лавров и Катя пошли по затихающим улицам и попали на набережную.

Тиха белая ночь. Небо — беззвездно, на нем тают розовые облачка, во всем воздухе разлито удивительное, величавое спокойствие. Всё кажется четким, словно нарисованным — и буксиры, причаленные прямо к парапетам, и далекие заводские трубы, черные на заре, так всю ночь не сходящие с неба.

Кончилась ночь, и ничего не было сказано о том, что хотел Лавров произнести, а Катя — услышать. Лавров довел Катю до ее парадной, — путь снова прошел в молчанье. Но он не мог уйти не сказав:

— Ну вот, мы и пришли.

Глаза у Кати блеснули, когда она подняла их на Лаврова.

— Катя!

Девушка вздрогнула:

— Что?

Она смотрела на него долгим и, как показалось Лаврову, тревожным взглядом, будто видела его впервые и пыталась понять, что же всё-таки происходит...

Через минуту она бегом поднималась по лестнице. Лавров остался у парадной один.

Он вытащил папиросы и стоял, шаря по карманам за спичками, но их не было, — кончились, стало быть. Тут вспыхнул перед ним розоватый огонек и знакомый голос проговорил:

— Пожалуйста, Николай Сергеевич.

Лавров отпрянул. Против него стоял Брянцев, держа зажженную спичку.

— Вы?

— Да. — Брянцев не замечал смущения Лаврова, он был хмур, и под глазами у него лежали глубокие тени. — Майор просил вас немедленно пройти к нему. Вас и Воронову.

С Лаврова словно хмель слетел:

— Что случилось?

— Поднимемся за ней, — вместо ответа предложил Брянцев.

Но Катя уже спускалась, по лестнице дробно стучали ее каблуки.

Когда она побежала наверх, у нее было одно желание: скорее к себе, в комнату, раздеться и юркнуть под одеяло и, накрывшись с головой, подумать о том, что сегодня было. Она не утерпела и выглянула в лестничное окно; Лавров был не один. Второй — она знала его — был помощник Курбатова, значит надо бежать вниз, он там неспроста.

— Что случилось? — крикнула она из дверей.

— Когда Позднышев ушел с работы? — спросил ее Брянцев.

— В пять, нет, в половине шестого. Да, в половине шестого, это я точно помню. Я ушла в восьмом, два часа спустя.

— Куда? Куда он пошел?

— Его вызвал друг. Они собирались где-то встретиться.

— Где?

— Я не знаю. Что же случилось всё-таки, скажите ради бога?

Брянцев отвернулся:

— Позднышева пытались убить. Он в больнице.

В субботу, под выходной, Брянцев, уходя с работы, столкнулся у входа с музыкантом Головановым. Брянцев узнал его сразу по фотографиям, которые приходилось видеть на афишах и в журналах. Высокий, худой, чуть сутулый, словно стеснявшийся своего роста, Голованов стоял перед дежурным и говорил, волнуясь:

— Простите, мне надо видеть... срочно видеть кого-нибудь из следователей. По очень важному вопросу. Сегодня, сейчас.

Дежурный взглянул на Брянцева — тот кивнул; тогда дежурный попросил у Голованова документы и выписал пропуск:

— Комната шесть.

Рассказ был не длинен, музыкант очень нервничал и говорил поэтому сбивчиво, однако всё, что он говорил, складывалось в стройный рассказ о судьбе человека его, Брянцева, поколения. Но если Брянцев рос, как большинство советских детей, в семье, в школе, в пионерском отряде, — то у Голованова была совсем иная судьба. Брянцев пошел на фронт, Голованова не брали — слаб здоровьем. И если для Голованова война кончилась в тот самый

день, когда об этом сообщили по радио, для Брянцева она продолжалась до сих пор.

Слушая Голованова, Брянцев видел не только то, что тот хотел рассказать. Жизнь человека талантливого, сильного в своем таланте, вставала перед Брянцевым.

...Голованов помнит себя лет с пяти, — помнит комнату, единственным своим окном выходившую на двор, со всех сторон стиснутый дровяными сараями. За двором и сараями начиналась пригородная равнина, безлюдная, изрытая окопами и воронками, — там ребяташки подбирали позеленевшие стреляные гильзы, части сломанных винтовок и иногда — латунные пуговицы с тисненными орлами.

Семья жила в Нейске, небольшом промышленном городке, и занимала комнату бывшей конторы завода. Отец рассказывал, что в этой комнате был кабинет управляющего заводом фирмы Сименс-Шуккерт, герра Ратенау.

По утрам мальчика будил заводский гудок. Глухой, он то повисал в воздухе, то, словно прижатый ветром к земле, растекался по сторонам, чтобы где-то снова взмыть вверх и оттуда прислушаться к собственному эху.

Он вставал вместе с отцом; мать вставала раньше. Она ходила по комнате и кашляла, запахивая на груди серый штопанный-перештопанный платок. Когда она кашляла, отец тревожно поднимал от тарелки голову, а потом опускал ее еще ниже, чем раньше, словно чего-то стыдясь. Однажды мать уехала в деревню к своей родне; мальчик помнит вокзал, сутолоку, мелькающие тюки и корзины, по-

мнит мать, стоявшую в дверях товарного вагона. Поезд тронулся, она что-то крикнула, запахивая платок привычным движением, — и навсегда ушла из его жизни.

Через год он пошел в школу, и отец, дневавший и ночевавший на заводе, облегченно вздохнул: школа смотрела за мальчиком, кормила его.

Хорошо было после занятий не идти домой, в холодную пустую комнату, а забраться в каморку школьного сторожа Федосеича и читать ему по складам книгу. Старик вертел от удивления бородой, восклицая: «Ах ты, елки-березки!» — а потом засыпал под чтение.

Однажды, забравшись по привычке к сторожу, мальчик увидел, что старик, ворча себе под нос, перебирает связку ключей:

— Рояля ей понадобилась. Достань ей роялю, а если она вовсе даже сломанная?..

Кряхтя, он вышел в коридор; мальчик пошел за ним. Всё еще не успокаиваясь: «Рояля ей понадобилась!» — сторож остановился у дверей, которые обычно никогда не бывали открытыми. Замок долго не поддавался. Наконец, ключ в скважине закрипел, заскрежестал, и на мальчика пахнуло пылью, плесенью и гниющим деревом.

Их тени ходили по голым стенам с ободранными обоями. Маслёнка светила еле-еле, и приходилось то широко раскрывать глаза, то щуриться, чтобы разглядеть комнату.

— Вот она, — кивнул старик на что-то густо обросшее пылью. Тряпкою он провел по ровной поверхности, и вдруг из-под тряпки вырвалась и заблестела черная полоска.

— Роялью называется. Не знаешь? Играют на ней. Вот, глянь-ко.

Он откинул крышку.

— Ткни пальцем-то. Да не бойся, не кусается. Смотри.

Своими короткими, распухшими от ревматизма, скрюченными пальцами он ударил по клавишам, и пыль на крышке дрогнула от раздавшихся звуков.

— Тут, слышишь, ровно вода звенит, ручеек — жур-жур-жур, а здесь вот солнышко светит, а тут гром. А? чего рот-то раскрыл? Не видал? Хитрая, брат, штука, люди на ней десять лет учатся играть.

Это был первый урок музыки.

«Рояля» понадобилась учительнице: та на уроке сказала ребятам, что у них будет пение. Скоро пришел и учитель — долговязый с рыжими усиками, в дымчатых очках, замотавший шею зеленым шарфом:

— Это — до, это ре, дальше ми, фа, соль... поняли? Начали — до, ре, ми, ми, ми...

Поначалу от этого «ми» все прыснули, но потом привыкли и тянули «ми» уже с удовольствием.

Мальчик как-то подошел к учителю пения и сказал, что ему бы хотелось научиться играть. «Играть? Ты — чей? Головановский? Это что ж — заводского Голованова, да? Ну, тогда можно. Оставайся после уроков».

Потом учитель шипел: «Дурень, тупица, тебе бы только в обоз идти, ассенизаторский». Мальчик плакал, не понимая, почему он тупица, но, раз заболел музыкой, он уже не мог вылечиться.

Что было дальше? Отец пошел на завод и не вернулся, его нашли на дороге мертвым, а неподалеку валялись дымчатые очки. В карман отца была всунута записка: «Красному директору от истинных хозяев завода». А учитель музыки исчез, как сквозь землю провалился, но потом кто-то портил станки, а в мешке муки на общественной кухне нашли однажды толченное стекло...

И вот — детдом. Уже другие преподаватели, люди ласковые и внимательные. Год мальчик прожил там, учась, помимо прочего, играть на скрипке, которую ему подарил завод. И, как знать, может, совсем иначе сложилась бы его судьба, если бы не один — смешной теперь, а тогда грустный случай.

Кто-то принес в школу мяч. С гиком и визгом ребята гоняли его на перемене по коридору, и, забыв обо всем на свете, Сережа Голованов бросился в эту азартную игру, пиная мяч ногами, кричал и пел, как вдруг наткнулся на фарфоровую вазу, стоявшую на тумбочке возле окна, и прежде чем он успел вытянуть руки, ваза упала и разбилась вдребезги.

В коридоре сразу же стало тихо, только мяч шуршал, откатываясь в угол. Мальчик еще не понимал, что случилось, и недоуменно смотрел на осколок, с которого маслянистыми глазами улыбалась розовая рожица амура. Он уже не помнит, кто из ребят подошел к нему и сказал, тоже глядя на осколки:

— Дорогая штука. Полух ты, Серега.

Один из закадычных дружков по школе дернул его сзади за куртку:

— Хочешь, я скажу, что я это разбил, а? Мой батька заплатит.

— Не надо. Я сейчас домой пойду.

И, схватив в классе свой ранец и шапку, он выскочил на улицу, трясаясь от страха.

Тихо и протяжно, словно котенок, пропишала дверь в комнату. Там никого не было. Скрипка лежала на табуретке возле кровати; когда он откинул тряпку, закрывавшую ее, и тронул струну, одинокий звук долго ныл в воздухе, будто жалуясь на боль и не находя себе выхода. Не всё ли было равно, куда идти. Он взял скрипку и осторожно, стараясь не шуметь, вышел, осторожно закрыв за собой дверь, и осторожно спустился по лестнице.

...На одной из станций, названия которой он уже не помнит, где-то между Москвой и Ленинградом, он решил сыграть в зале ожиданий, благо не было видно милиционера, а народ собрался подходящий, большей частью женщины, — эти всегда что-нибудь дадут.

Он сыграл «польку», потом «жалостливую» песню и увидел, что кто-то краешком платка уже вытирает глаза и лезет в корзину. Он начал еще одну «жалостливую», но, сразу заслонив свет в окнах и мельтеша, подошел поезд, и, кое-как собрав куски пирогов и яйца, он выскочил на платформу: поезд был попутный, на Ленинград. По перрону прогуливались двое бойцов железнодорожной охраны. Он шмыгнул вдоль стены, дошел до угла и спрятался за ним, надеясь пойти в обратную сторону, когда эти двое пройдут мимо. Всё было бы хорошо, если б один из них случайно не обернулся. Бежать было бессмысленно;

боец схватил мальчика за плечо, и тот вскрикнул.

— Чего орешь?

— Отпустите! — вдруг услышал он. — Слышите, товарищ боец!

Из окна вагона, стоявшего как раз перед ними, высовывался широкоплечий человек в военной гимнастерке. Голос у него был властный, и боец нехотя убрал руку. Человек в гимнастерке увидел у мальчика скрипку и сказал:

— А ну-ка подойди сюда, скрипач!

Из-за его спины показалось другое лицо, узкое, с большими черными глазами.

— Ты чего здесь делаешь?

— Я... я здесь играл.

— Что играл?

Мальчик ответил, и широкоплечий улыбнулся.

— Небось сбежал из дома? Только правду говори — сбежал?

К чему было врать этому человеку? Ну, сбежал, только не из дома.

Широкоплечий вдруг задумался:

— Знаешь что, лезь-ка ты сюда. Вон в те двери. — И крикнул какому-то военному, стоявшему у подножек вагона: — Товарищ Быстров, пропустите мальчика.

Прошел час, прежде чем Сергей рассказал им о себе, а человек в гимнастерке всё спрашивал его и наконец попросил что-нибудь сыграть. Сергей развернул свою скрипку.

— Чайковского можешь?

— Могу.

Широко расставив ноги, стал посередине

купе и сыграл «Тройку». Они — черноглазый и другой, в гимнастерке, — переглянулись:

— Еще что-нибудь...

Стараясь не сбиться, он начал играть песенку, дней пять назад услышанную в зале ожиданий от крестьянина, но песня была короткой, а ему не хотелось кончать, и он продолжал ее, чуть прикрыв глаза, и, собрав в себе все силы, играл дальше, придумывая на ходу.

— Я не знаю этого, — сказал человек в гимнастерке. — Что ты играл?

— Не знаю, — ответил он.

— Как так — не знаю?

— Начало не мое, а середина и конец — мои.

Они снова переглянулись. И вдруг человек в гимнастерке звонко рассмеялся:

— А помните наш спор, Валериан Павлович? Вы говорили, что десятилетия пройдут, прежде чем из нашего народа выйдут в мир таланты. А вот прошло пятнадцать лет — и пожалуйте. Нет, Валериан Павлович, в нашем народе таланты растут, как грибы в дождик, надо их только собирать умело. — Всё еще смеясь, он потрепал мальчика по голове. — А покормить-то тебя я забыл. Нечего сказать, гостеприимный хозяин. Садись и ешь. Вот тебе бутерброды.

Ради приличия он отнекивался, а потом решил, что стесняться нечего, и посл с удовольствием. Еда клонила ко сну, и он задремал, свернувшись на диване, сквозь полусон слушая речи двух пассажиров.

— Вот вам совершенно новый человек, —

говорил черноглазому главный, как он определил его: — он городского в глаза не видел и не увидит. Пареньку, конечно, не сладко жилось, так ведь мы только в начале пути. Сын токаря, красного директора. Я верю в него, ей-ей верю... Вы говорите — наследственность, культура в крови, а мы сами вложим ему в кровь нашу культуру...

Больше мальчик ничего не слышал. Когда его разбудили, в купе уже было темно и черноглазого не было. Тот, который взял мальчика в поезд, стоял одетый, в кожаном пальто и фуражке:

— Вставай, тетка, приехали.

Они вышли на перрон. Там стояло несколько военных, они козырнули и вытянулись, увидев их. На привокзальной площади стояли две машины, в одну из них они влезли, «главный» поздоровался за руку с шофёром и сказал:

— А ну, Вася, в первый детдом, и домой.

— И всегда вы каких-то мальчишек да девчонок возите, Сергей Миронович, — заворчал шофёр. — Небось, как резину менять — доставай, брат, как знаешь...

Тот захохотал:

— Чего ты ругаешься! Погоди, эти мальчишки да девчонки еще нас возить будут. Вот увидишь: состаримся, и будут нас возить.

Впервые в жизни мальчик ехал на автомобиле. За стеклом мелькали витрины, люди — он ничего не мог разобрать толком. Наконец, они приехали, и шофёр помог открыть дверцу.

— Вылезай, будущий шофёр.

— Будущий музыкант, — поправил его новый дорожный знакомый. — Погоди, погоди, еще хвастать будешь, что возил его. Пошли, музыкант, в детдом, только условимся: не убегать.

Внизу их встретила пожилая красивая женщина; Сергей Миронович поздоровался с ней и назвал по имени-отчеству. Разговаривали они тихо, отойдя в сторону; единственное, что донеслось до мальчика: «определить его в школу художественного воспитания»; потом Сергей Миронович подошел к Сергею и протянул руку:

— До свиданья, герой. Скучно будет — звони по телефону. Эх ты, Паганини...

А через полтора года этого невысокого, с ясной улыбкой человека не стало. Была площадь, и толпа, и в морозном декабрьском воздухе сухо звучали трубы. Толпа захлестнула мальчика и понесла к широким ступенькам вокзала. Мальчик плакал. И то ли слёзы помешали ему разглядеть подробнее, то ли сгустившаяся темнота — но показалось ему, что мелькнуло где-то рядом знакомое лицо учителя пения, уже без дымчатых очков, но с тем же зеленым шарфом. Они встретились взглядами. С этим человеком в сознании Сергея была связана и смерть отца, и всё плохое, страшное. Почему он оказался здесь? Из всех сил мальчик начал протискиваться к нему — какое-то огромное, сильное в ненависти чувство вело его тогда, желание схватить за руку, крикнуть что-нибудь обидное, — но нет, того уже не было, исчез, словно растворился в толпе.

Что было потом? Комсомол, школа, консерватория. Ему было двадцать лет, когда началась война. Голованов рассказал и о той ночи, когда он перешел фронт у Солнечных Горок. Кто с ним шел? Он не помнит. Лица? Нет, лиц он не видел тогда, — он еле шагал, у него мутилось в глазах. Глаза у него плохие — он начал терять зрение еще в детстве, от коптилок и недоедания.

Брянцев, наконец, записал последние слова показаний Голованова: «Я, Сергей Гаврилович Голованов, работник Филармонии, живу в настоящее время на даче в Замошье». Дальше Голованов говорил, что вечером, в пятницу, он ловил на речке рыбу, в месте, скрытом кустами, но ловил не удочкой, а на донку, так что удилище не высывалось из-за кустов.

Часов в девять мимо кустов медленно прошли двое: их не было видно, Голованов слышал только их голоса. Повидимому, они продолжали начатую беседу:

—... но я же вам говорю, он может докопаться до причин аварии и тогда все эти годы — кошке под хвост. Нет, нет, пусть четвертый его уберет.

— Если вы уберете Позднышева, я не уверен, что это... понравится. В конце концов, следы...

— Подите вы к чёрту с вашей трусостью, а я не желаю класть свою голову, — взвизгнул один из них, и Голованов вздрогнул: в интонации ему послышалось что-то очень знакомое. Те двое, всё еще споря, прошли; Голованов осторожно раздвинул кусты и выглянул.

Пожилой человек, отчаянно жестикулируя, продолжал доказывать своему собеседнику, что он не намерен рисковать своей головой, а тот, военный, повидимому офицер, долговзый, с тонкой как у осы талией, шел молча, прутиком сбивая разросшуюся вдоль тропинки пышную поросль. Как только они скрылись, Голованов, забыв про снасть, бросился в поселок, переоделся и минут за двадцать до прибытия поезда, шедшего в город, был уже на станции.

Пожилой пришел один. Мелко семена, он пробежал по перрону, выпил газированной воды, купил газету. Он никого не замечал, сел на скамейку и успел просмотреть всю газету — от передовой до объявлений на четвертой странице. Наконец, поезд подошел, и Голованов оказался рядом с этим пожилым; в отделении вагона было пусто.

Коротки дорожные встречи! А когда поезд идет, мерно постукивая на рельсах, и делать ровным счетом нечего, люди становятся словоохотливыми.

Самое любопытное, что разговор начал не Голованов, а тот, пожилой:

— Вы не знаете, когда мы будем в городе?

— В первом часу. А вы разве не из Замошья, не с дачи?

— Нет, ездил к знакомым. Ужасно неудобное расписание для дачных мужей и... работающих гостей.

Он сам засмеялся своей шутке, и Голованов поддержал этот смех. Дальше разговор пошел как по маслу, и, подъезжая к городу, Голованов уже знал, что этот пожилой — бух-

галтер с «Электрика», и что завтра ему на работу, и что он не успеет выспаться — к старости началась бессонница, — знаете, очень мучительная штука...

В конце головановских показаний было написано:

«Этого человека я знал много лет назад. В моей памяти он связан с убийством моего отца, директора завода в Нейске. Он исчез из Нейска после убийства. Последний раз я видел его в Ленинграде на похоронах С. М. Кирова, но задержать его тогда мне не удалось...»

— Ну что? — спросил Бондаренко, присутствовавший при беседе, когда Голованов ушел. — Что ты думаешь?

— Надо схватить на завод, Павел.

— Предупредить Позднышева? Я узнавал, такой там работает.

— Взять бухгалтера. Он может наделать дел, если его не изолировать сейчас.

Но они опоздали. В коридоре заводоуправления, несмотря на поздний час, былолюдно, но тихо, все говорили шёпотом, оборачиваясь к двери директорского кабинета. Санитары и врач поднимались по лестнице вместе с Брянцевым и Бондаренко, и поэтому неловко было входить в кабинет вместе с ними; офицеры остались в коридоре, и Брянцев шёпотом спросил одного из рабочих, что случилось.

— Позднышев...

— Да что вы? — Брянцев сделал вид, что Позднышева он, разумеется, знает. — Что такое?

— Не знаю. Пришел часов в семь в цех,

ходил грустный, пил воду, а потом — упал, судороги...

Санитары вынесли Позднышева на носилках. Он был без сознания. Брянцев на секунду увидел высокий лоб неестественной, мраморной белизны и губы, искривленные от боли. Потом он взглянул на Бондаренко. Тот указал ему глазами на дверь директорского кабинета, и они вошли, не постучавшись.

Директор не обернулся. Он стоял возле врача, складывавшего в чемоданчик шприцы и коробки с ампулами.

— Вы уверены в этом?

— Да, симптомы совершенно точные.

— Это смертельно, доктор?

— В зависимости от дозы, общего состояния организма... Да мало ли еще от каких причин.

Теперь уже Бондаренко подошел к врачу:

— Что вы установили?

Врач поднял глаза и, увидев офицера, ответил так же лаконично и, как показалось, устало:

— Отравление птомаином... рыбным ядом. Я... нужен вам еще?

— Нет, нет, спасибо.

Врач ушел. Директор, Бондаренко и Брянцев остались одни.

Брянцев молчал, вопросы задавал Бондаренко. Бухгалтера, конечно, уже нет на заводе? Где был Позднышев сегодня? Кто это может сказать? Да, позовите, пожалуйста, его помощников.

Бондаренко выяснил, что Позднышеву позвонил друг, они договорились встретиться

в шесть. Звонок был в пятом часу, до этого Позднышев выходил из цеха один. Кто этот друг? Уралец, электрик, Василий. Всё. Больше ничего узнать не удалось. Бондаренко шепнул Брянцеву: «Узнай адрес бухгалтера», — и тот тихо вышел из кабинета.

В отделе кадров народ еще был, и Брянцеву быстро дали адрес Войшвилова. Когда Брянцев снова подошел к директорскому кабинету, Бондаренко уже выходил оттуда.

3

...Перед Брянцевым лежали материалы обыска, произведенного в квартире Войшвилова. Самого его дома не оказалось.

Под железным листом возле плиты на кухне был обнаружен коленкорový сверток. Там были аккуратно сложены паспорта — пять штук! Брянцев листал их. Со всех пяти фотографий глядело одно и то же лицо: фамилии, даты и места рождения, словом всё остальное — было разным.

В один из паспортов, выданный Солнечногорским отделением милиции гражданину Дьякову Аполлону Марковичу, была вложена справка о том, что гр. Дьяков А. М. 27 октября 1941 года действительно был направлен в эвакогоспиталь, как пострадавший при переходе через линию фронта.

Судя по всему, незадолго до обыска в квартире было двое: в пепельнице лежали окурки «Казбека» и «Беломора» — ясно, что их курили разные люди. Сидели недолго, от силы час, выкурили три папиросы. Тот, что

курил «Казбек», нервничал и выкурил две штуки.

Но основной находкой были всё-таки бумажки, которые теперь Брянцев брал в руки особенно осторожно. Там была таблица с боевыми данными новой скорострельной пушки, крохотный чертеж, при первом взгляде на который не трудно было отгадать замок этой же самой пушки, и отпечатанные на машинке сведения о количестве электрооборудования, изготовленного на заводах министерства за год для армии. «Ну, ладно, — подумал Брянцев, — я еще могу допустить, что скромный бухгалтер в конце концов мог как-то узнать об электрооборудовании. Но откуда у него эти сведения о пушке?»

Впрочем, сопоставляя рассказ Голованова и результаты обыска, Брянцев понимал, что «скромный бухгалтер» — вовсе не Войшвиллов, Дьяков или кто-либо еще, а матерый разведчик, пойманный на месте преступления.

Курбатов всё еще не возвращался, и Брянцев был даже рад этому. Он работал с лихорадочной поспешностью, закуривал папиросу и бросал ее, потом вытаскивал из пачки и закуривал новую. Уже было воскресенье, но Брянцев не знал, что Курбатов договорился с Лаврозым и Катей ехать в Солнечные Горки, и потому спешил сделать как можно больше до его приезда, чтобы Курбатов мог сразу же начать расследование.

Прежде всего Брянцев позвонил в управление милиции. Не подавали ли за последние шесть-семь лет заявления о пропаже паспортов — номера такие-то, фамилии такие-то, в

том числе и на фамилию Войшвиллов? В раймилицию Солнечных Горок он звонить не стал: паспорт может быть фальшивым — это во-первых, архивы же, над ^о думать, были давным-давно уничтожены. Он позвонил в Москву, в центральное бюро справок: «Мне нужен домашний телефон Позднышева Никиты Кузьмича. Да, я подожду. Какой номер? Спасибо».

Через десять минут он говорил с женой Позднышева, она уже знала всё и утром собиралась вылететь.

— Простите, один вопрос. У вашего мужа есть друг на Урале, Василий?

— Да, Василий Павлович Коростылев. Они вместе учились, вместе работали. Были вместе в Германии.

— Его телефон и адрес вы знаете?

— Телефона у него нет. — И она продиктовала Брянцеву адрес.

Через несколько минут в Свердловск уже шла телеграмма Коростылеву и фотография Дьякова-Войшвиллова по фототелеграфу.

Лихорадочность внезапно сменилась усталостью. Когда Брянцев сел и начал писать доклад, у него задрожали пальцы. Он стиснул ручку и заставил себя писать; строчки, однако, получались корявыми, буквы так и прыгали у него в глазах.

Доклад Курбатову был окончен.

В воскресенье вечером приехал сам Курбатов.

— Ну как дела? — пожал он руку Брянцева и продолжал сам, не дожидаясь ответа: — Кое-что мне удалось установить.

Водокачка была взорвана двадцать девятого октября, иными словами, через два дня после того как группа перешла фронт. Стало быть, железнодорожник-подрывник был липовый. Что с вами, Брянцев?

Прочтя доклад, Курбатов откинулся в кресле.

— Это — удача, лейтенант. Но как Поздышев?

Брянцев вспыхнул. Он попросту забыл позвонить в больницу и сейчас, рдея как маков цвет, слушал, что говорит в трубку Курбатов.

— Состояние тяжелое?.. Температура?.. Благодарю вас.

Курбатов расстегнул верхнюю пуговку рубашки и ослабил галстук:

— Да, жаль старика. Однако будем работать. Поезжайте за Лавровым и Вороновой.

Он остался один. Перед ним лежали паспорта, и он вглядывался в лицо человека на фотографиях. Вот он какой, первый! Военные сведения, без сомнения, получены им со стороны, возможно, от того офицера, которого видел Голованов. Что ж, пока не найден Войшвиллов, искать этого офицера рано.

Другая бумажка — сведения экономического характера; ее принес другой человек. Бухгалтеру, пожалуй, не под силу собрать так много и с таким знанием дела, хотя нет правил без исключения. Сообщение напечатано на машинке, шрифт мелкий, значит, портативка, буква «о» сбилась. Ничего удивительного: это наиболее часто употребляемая в русском языке буква. А вот «ч» поднимается над строкой. Это важнее — это уже «почерк»

машинки, потому что во всем мире нет такой другой машинки, у которой бы рисунок шрифта, потертость, еле различимые простым глазом особенности совпадали бы так с этой.

Потом Курбатов задумчиво снял трубку и позвонил; ему не ответили. Тогда — очевидно, найдя какое-то единственное решение — он встал, вызвал машину, спустился вниз и, сев рядом с шофёром, приказал:

— В Сеченовскую больницу.

Его сразу окружила больничная тишина, запахи лекарств, ослепительная белизна стен и та тревога, которая всегда овладевает здоровыми людьми в таком месте от сознания того, что где-то рядом находятся страдающие люди. В маленьком окошечке отдела справок пожилая женщина ответила уклончиво: сведений о состоянии здоровья Поздышева вторично не поступало. Врач Макарьева? Да, она здесь, ее срочно вызвали из дому. («С корабля на бал, — грустно подумал Курбатов. — Вот почему она не подошла, когда я её звонил»), — и он попросил вызвать ее сюда, в вестибюль.

Ждать пришлось долго, минут сорок. Наконец, Нина Васильевна показалась наверху широкой мраморной лестницы — одинокая женская фигурка в белоснежном халате и шапочке; такой ее Курбатов видел впервые. Он пошел к ней навстречу и на середине лестницы остановился; впрочем, Нина Васильевна тоже видела Курбатова таким впервые, — никогда прежде она не замечала на этом дорогом для нее лице жестких складок в углах рта и холодного выражения обычно веселых глаз.

— Вас вызвали к Позднышеву? — спросил он.

— Да.

— Как его состояние?

— Плохо, — тихо сказала Нина Васильевна. Она усталым движением провела по глазам, словно снимая невидимую паутину. — Очень плохо, я буду здесь всю ночь. У него началась интоксикация мозга. Его нельзя оставить ни на секунду.

— Мне нужно поговорить с ним, Нина.

— Это невозможно. — Она близко придвинулась к нему, снизу вверх заглядывая в глаза, и по той тоске, которую Курбатов уловил в самой глубине зрачков, он понял, что это действительно невозможно.

— Тебе сейчас... трудно? — шёпотом спросила она, за все время в первый раз называя его так — на «ты». Он даже не заметил этого и кивнул:

— Да, трудно.

— Мне тоже очень трудно, — Нина Васильевна осторожно взяла его под руку. — Он очень плох сейчас, сознание так и не возвращается...

Курбатов думал, опустив глаза. Нина Васильевна была права: действительно, ей сейчас еще труднее. Он поглядел на нее и медленно сказал:

— Иди... Идите к нему.

Женщина приподнялась на ступеньку выше, теперь они стояли вровень. Плавным, мягким движением руки она провела по плечу Курбатова, тонкие пальцы на секунду дотронулись до его щеки, будто невзначай. Всё

было в этом жесте: и тревога, и любовь, и беспокойство за него — всё, что словами подчас трудно, а то и невозможно выразить, вылилось в этот короткий порыв. Курбатов еще постоял немного, прислушиваясь, как по кафелю постукивают ее удаляющиеся шаги, а потом, поправив надоедливо сползавшую на лицо прядь, начал спускаться вниз, к выходу.

Дальше он начал рассуждать. Позднышев ничем не мог помочь ему, а так надо было представить себе целиком всё то, что произошло, и, главное, как это должно было происходить, — пусть без подробностей, без мелочей, но хотя бы приблизительно верно.

...Значит, действительно, на заводе был один из пятерых. Значит, действительно, авария была не случайной, — это диверсия. Бухгалтер испугался, что Позднышев догадается об истинных причинах аварии. Но почему — бухгалтер? Что он мог сделать с генератором? Ведь он никакого отношения к монтажу не имел. Значит, дело не в монтаже, тем более что Позднышев тоже монтажом не интересовался.

О чем же знает или может знать Позднышев? И сейчас не спросишь у него об этом...

Вот еще одно: если бухгалтер испугался разоблачения, почему он тогда попросту не удрал, не скрылся? Может быть, вот сейчас он и скрылся? Вряд ли. Он тогда бы взял все свои бумаги...

Да, многое еще совершенно неясно. Можно только предполагать. Например, бухгалтер не бросился бежать с завода потому, что его там что-то держало. Что? Предположим, новые

диверсии... или люди. Люди? Неужели всё-таки Воронова?

Но бухгалтера, тем не менее, нет. Может, он и удрал, не взяв документы и сведения. Документов у него может быть много, а сведения давчо переданы — это копии. А покушение на Позднышева? Что это — месть? Необдуманный шаг?

Поехать на «Электрик»? Но с какого конца там начинать, Курбатов еще не знал. Нет, там пока делать нечего, в электротехнике он не силен.

Сейчас Курбатов ощущал какую-то боль оттого, что, казалось ему, было сделано не всё и, главное, не предупреждено покушение на Позднышева. Генерал, конечно, заметит это ему. Но промах ли это? Враг опасен, его засылают сюда гадить, и ему подчас удастся это сделать прежде чем его обезвредишь. Такова логика борьбы...

Позднышев появился на заводе, и бухгалтер испугался, что тот узнает правду об аварии, — думалось Курбатову. Войшвиллов встретился с одним из своих, он доказывал, что Позднышева надо убрать, иначе всё погибнет. Наконец, бухгалтер или кто-нибудь другой — возможно, из тех пяти, — звонит Позднышеву и, прикрывая трубку (Позднышев ругался: «Что это у тебя телефон позапрошлого века!»), выдает себя за Василия. Бухгалтер, без сомнения, знал и Коростылева.

Войшвиллов договорился с Позднышевым о встрече. Где? К Позднышеву пустят разве только через неделю, он ничего не может рассказать сейчас... Там, где свидание было на-

значено, Позднышев что-то съел: ему дали яд. «По-моему, пока в рассуждениях всё верно... Где это могло быть? Ну, предположим ты, майор Курбатов, приезжаешь в город, где живет твой друг, — где ты назначишь ему свидание? В номере гостиницы, или придешь домой к другу, или — в ресторане: посидеть, быть может — выпить и за стопкой вспомнить старину. Да, ресторан — это скорее всего. В ресторане может быть свой человек. Бухгалтер звонит ему. Позднышев приходит в ресторан, садится, ждет, а Василия всё нет и нет, тогда он вспоминает, что голоден, и заказывает что-нибудь. Остальное ясно...»

Ясно было одно: эту рабочую гипотезу, это предположение, надо было проверять завтра же, с утра.

Брянцев назвал Войшвилова убийцей интуитивно, руководствуясь первым, наиболее сильным впечатлением. Курбатов внутренне целиком соглашался с ним. Но, как бы там ни было, требовалась проверка. Было ли отравление Позднышева преднамеренным? Сразу ответить на это нельзя. Птомаин, рыбный яд, — бытовой яд, он может содержаться в недоброкачественных продуктах, даже в сыре. Как правило, — в недоброкачественной рыбе высших сортов. И отравление энергетика могло быть случайным.

Курбатов позвонил в ближайшие от «Электрика» больницы и поликлиники. Не поступало ли к вам больных с признаками отравления рыбным ядом? Не поступало? Хорошо. Спасибо. Курбатов решил позвонить во все больницы города: ведь человек мог уехать хоть на окраину, а потом почувствовать себя плохо.

Но отовсюду ответ был один: нет, не поступали. Разговоры по телефону заняли много времени, и когда майор зачеркнул последний пятизначный номер, выписанный на листке, он вздохнул с облегчением. Значит, действительно, — это покушение. Блюда в ресторанах порционные, и недоброкачественная рыба, если такая существовала, попала бы не одному посетителю.

Теперь оставалось проверить причастность Войшвилова к покушению. Это сделать удалось легко. Подошедший к телефону служащий сказал, что Войшвиллов ушел с завода перед самым возвращением Позднышева. Выходит, Войшвиллов не был в ресторане? Но... значит, здесь замешан третий... И, значит, поиски офицера, — того, которого с Войшвилловым видел Голованов и который, надо думать, передал Войшвиллову секретные сведения о новом вооружении, — поиски эти откладываются еще дальше. Найти третьего, затем — Войшвилова и затем — офицера, одного за другим, так, пожалуй, верней.

Это предположение о существовании третьего обрадовало Курбатова. Обрадовало потому, что таким образом нашелся еще один след, след третьего, о котором тоже пока не было ничего известно, но, из сопоставления фактов, его жизненность стала для Курбатова несомненной.

Почему и куда исчез Войшвиллов? Неужели его кто-нибудь предупредил, что он узнан Головановым? Нет, этого нельзя предположить. На этот вопрос пока не ответить.

Надо искать третьего. Как бы там ни было,

этот неожиданно появившийся третий имел уже какой-то заметный след. Конечно, третий, может быть, и не переходил тогда фронт, но ясно, что он отравил Позднышева по чьему-то приказу, скорее всего по приказу Войшвиллова. А раз так, то именно третий приведет к бухгалтеру-оборотню, который скрывается сейчас неизвестно где.

Прежде чем начинать поиски третьего, Курбатов попытался представить себе этого человека. Кто он? Кем служит? Каким образом ему удалось подсыпать яд? Пожалуй, третий — официант. Почему? Да потому, что если он за стойкой, посетитель к нему не подойдет. Кроме того, там продается только вино и прочее. На кухне работать третий тоже не может! Что ж, выходит — всё ясно. Третий — официант. Возвращаясь с кухни, где-нибудь в коридоре он положил яд в тарелку Позднышева. Это, без сомнения, верное предположение.

Теперь... в каком ресторане произошла встреча?

Вблизи завода несколько ресторанов — «Приморский», «Северный», «Радуга»... Какой из них? Курбатов достал план города. Вот завод... Позднышев отсутствовал в тот день примерно полтора часа. Где он успел побывать за это время? В ресторане энергетик сидел, возможно, тридцать-сорок минут. А не мало ли? Что если, не застав друга, он решил его подождать: может, опаздывает? Нет, и Позднышев и уралец, наверное, цонят время. Ведь они недаром работники точных наук. Это писатель или художник мог опоздать, а инженеры всю жизнь связаны с минутами

и секундами. Так что Позднышеву опоздание даже на тридцать минут показалось достаточным для того, чтобы решить: друг не придет, ждать нечего.

Ну что ж, тридцать так тридцать. Остается час на дорогу, туда и обратно; полчаса в один конец. Позднышев договорился о встрече через час... Ушел через полчаса... «Значит, я рассчитал правильно. Позднышев, видимо, этот ресторан знал. Может, и не знал. А как было бы всё просто, будь Позднышев в сознании, найди он силы для того, чтобы рассказать всё».

Брянцев тем временем ждал на улице Лаврова и Катю. Когда они все трое вошли к Курбатову, тот поднялся навстречу и показал фотографию:

— Не узнаете?

Катя долго всматривалась в лицо Ратенау, потом кивнула:

— Да, знаю, это наш бухгалтер, Войшвилов.

Фотографию взял Лавров. Он поднес ее к свету, взглянул мельком и положил на стол:

— Нет, я ничего не могу сказать.

Курбатов сгреб все бумаги в стол и достал чистый лист:

— Давайте опять займемся нелюбимым делом, Екатерина Павловна, — воспоминаниями. Я попрошу вас вспомнить, о чем говорил по телефону Позднышев, в котором часу это было, когда он ушел?

На столе Курбатова продолжительно зазвонил телефон.

Вызывал Свердловск. В трубке слышался

далекий, приглушенный расстоянием голос Коростылева:

— Вы хорошо слышите меня? Вы прислали мне фотографию... Я знаю этого человека... Да, я узнал. В тридцать шестом году он служил у фирмы Сименс-Шуккерт, когда мы с Позднышевым были в Германии. Его фамилия Ратенау.

Вешая трубку, Курбатов сказал:

— Конечно, Коростылев никуда из Свердловска и не думал выезжать. Позднышеву звонил кто-то другой... Войшвиллов или... или еще кто-нибудь, третий.

Утром Курбатов докладывал о результатах следствия генералу. При этом присутствовал полковник Ярош и еще несколько сотрудников: в «сложных», как говорил генерал, случаях он приглашал в свой кабинет опытных чекистов и после доклада они обменивались мнениями. В ходе обсуждения возникал ряд мыслей, деталей, ранее не замеченных, следовательно указывались другие, быть может более удачные и короткие пути к обнаружению врага. Творчество — это было как раз тем словом, которое генерал так любил и без которого не мыслил другого слова — коллектив.

Так и теперь, окончив рассказ о сделанном и о том, что он собирался делать, Курбатов сел и взял блокнот, оглядывая собравшихся: кто начнет первым? Но сначала полковник Ярош задал ему несколько вопросов, потом сам припомнил подробности покушения на Позднышева и только после этого посоветовал:

— Надо попытаться найти официанта. В ваших рассуждениях пока всё верно, однако я более чем уверен, что официанта в ресторане не окажется.

— Это верно, — подтвердил генерал. — Но если он удрал, то приметы, мелочи... Учитывайте также, что имя он носил, разумеется, не свое. Как ваше мнение, товарищи?

Один из следователей поинтересовался, видел ли Курбатов ту женщину, о которой говорила Воронова, — Кислякову, жительницу Солнечных Горок.

— Нет, — ответил Курбатов. — Она пока еще не проверена. Я наводил, правда, справки.

— И что же?

— Женщина живет бездумно, легко, с мужем разошлась...

Генерал прошелся по кабинету.

— Бездумно, вы говорите?.. Вот таких бездумных и надо проверить в первую очередь. — Он повернулся, и Курбатов увидел его раздосадованное лицо. — Есть, есть такие! Что ж, думают они, войны нет, в мире тишь-гладь — божья благодать, в газетах читают, что идет в театрах и кино. Они да «пей-гуляй, один раз живем» становятся опорой для врага.

Ярош кивнул. Курбатов знал: он только недавно окончил одно дело о таком любителе «легкой» жизни, ставшем агентом иностранной разведки.

— Так что учтите замечание, товарищ майор: проверить Кислякову. Пошлите к ней Брянцева. Кстати, ваше о нем мнение?

— Работник способный, только горяч. Готов всё на свете делать сам.

— Охлаждайте, — сказал генерал; глаза у него потеплели, он улыбнулся доброй улыбкой. — Как я вас охлаждал в свое время, и как меня — железный Феликс. Ну, кончим на этом, товарищи? Я думаю, всё ясно? А вы оставайтесь, товарищ майор.

И когда все, попрощавшись, вышли, генерал еще раз повторил Курбатову все предположения о дальнейших путях розыска... Нет, это был не только совет старшего начальника; это был приказ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Козюкин ходил по заводу в новом костюме, жал руки и, скромно склонив голову, выслушивал поздравления.

Проект генераторов для новостроек закончен. В отделе лежат свернутые рулонами десятки чертежей, схем, машинистки спешно перепечатывают документацию и сопроводительное письмо в главк, конструкторы долгими часами изучают проект и готовятся обсуждать его на техническом совете. Директор дал жесткие сроки: техсовет должен быть проведен через день. Козюкин воспротивился: «Зачем так скоро, время есть, проект кончили за две недели до срока. Дайте людям ознакомиться подробней». — «Нет, нет, как можно скорее. Я понимаю, вы хотите лавры и барабанный бой, — смеялся директор. — Будет тебе белка, будет и свисток».

Обсуждение проекта превратилось в сплошной триумф для Козюкина. Оппоненты подготовились серьезно и всё-таки не могли высказать ни одного критического замечания, если не считать придирки одного чересчур привередливого конструктора. Козюкин сидел, низко нагнув голову, и рисовал в своем блокноте что-то замысловатое; он слышал одни похвалы и чувствовал, как в висках мерными толчками пульсирует кровь: «Вот — оно, вот — оно, вот — оно»...

Так бы и кончился этот техсовет — не техсовет, а чествование юбиляра, если б не заключительное слово главного инженера завода. Он, видно было по всему, волновался, — работал он здесь недавно, но знал, что Козюкина ценят, что это действительно человек опытный и знающий.

— Ну что ж, — сказал главный инженер. — Успех заслуженный, творческая удача.

— Еще бы, — поддакнули ему с места.

— Но это удача не одного товарища Козюкина, а большого, сильного коллектива, удача не изобретателя-одиночки — таких у нас нет, и быть не может, — а результат направленного усилия многих людей, среди которых, конечно, занимает свое место и труд товарища Козюкина. Об этом мы сегодня забыли.

Козюкин поднял голову: он слушал, будто недоумевая, а потом, широко разводя руки, захлопал, улыбаясь, и главный инженер, словно ободренный этим, продолжал говорить уже свободней и куда более веско, чем говорили до него. Под конец он заметил, что не всё в проекте так совершенно и законченно.

Теперь все смотрели на Козюкина; он понял, что́ от него ждут, и попросил слова.

— Главный инженер прав, — улыбался он. — Нет предела развитию науки, и то, что сделал я... — он запнулся и быстро поправился: — ...со своими друзьями, то, что мы сделали, это еще не совершенство, но это то, что от нас требовалось. Мы учтем замечания, высказанные здесь, и пока проект в данном варианте рассматривается в Москве, поищем, подумаем...

На этом техсовет и кончился.

Катя вышла в коридор с двумя инженерами из группы Позднышева. Сзади раздавался бархатный баритон Козюкина:

— Да, дичайшая история. Я был у него в больнице, не пускают, состояние тяжелое. Вот, воистину, не знаешь, где упадешь, подстелил бы... Кто же теперь будет вместо него?

Катя поняла, что речь идет о Позднышеве.

— Дичь, дичь какая-то. Меня прямо обухом по голове. Как это всё получилось, вы не знаете?..

Козюкин вышел из заводских ворот один и пошел к автобусной остановке. Потом он обернулся. Многоэтажные корпуса уходили один за другим, окна были освещены — или это пылал в них закат? Он долго смотрел на окна, на антенны телевизоров на крышах, на деревья, высаженные вдоль ограды, на людей, одиночками или парами выходящих из ворот.

«Это будет мое».

И оглянулся. Ему показалось, что он сказал это вслух, задумавшись. Нет, он был один. Только какой-то мальчуган, проходя мимо, взглянув на него, увидел в глазах высокого человека столько неприкрытой ярости, что не выдержал и поглядел на него второй раз.

2

Что же стало известно, что прояснилось к концу первой недели, с тех пор как начались поиски пятерых, и о чем Курбатов докладывал генералу?

Известен один, Ратенау. Для чекистов он уже не Войшвиллов, не кто-нибудь другой, а именно Ратенау — старый, матерый волк, неистовый, закоренелый враг всего, что дорого каждому советскому человеку. И пусть этот враг обнаружен в результате стечения обстоятельств, — генерал не называл это случайностью. Рано или поздно, но Ратенау был бы найден среди двадцати шести, перешедших когда-то фронт, всё равно их дороги скрестились бы, а на чьей стороне победа — ответ может быть один. Курбатов не огорчался, не сожалел, что Ратенау нашли, опознали Голованов и далекий уралец, а не он сам. Агент обнаружен — и это главное.

Известен второй, железнодорожник. Правда, на этом все сведения о нем исчерпываются, но второй агент обретает плоть и кровь, перестал быть абстрактным понятием... Да, значит, два икса известны, остается их найти.

Как вести поиски этих двух? С чего начать? Пока ясно одно, что железнодорож-

ника — будем его до поры, до времени так называть — искать сегодня негде. Следов еще никаких нет. Ратенау тоже исчез.

Ратенау носит фамилию Войшвилова, и его можно искать по этой фамилии. Но почему он должен быть Войшвиловым? Наверняка, паспорт у него уже другой. Нет, это надо отставить... Есть его фотография... Годится!.. Но где всё-таки искать?

А почему Ратенау был там, где Голованов ловил рыбу? Может, у него там есть квартира, дача или еще что-нибудь? Что ж, неплохо. Стоит послать туда людей.

Во второй половине дня двое сотрудников выехали в Замошье. Курбатов дал им фотографии Ратенау, со слов Кати обрисовал его внешность. Никогда не видя бывшего бухгалтера в глаза, майор отчетливо представлял его, и описание получилось подробным. Но посылал он сотрудников в Замошье скорее для обычной в его работе профилактики, — не было уверенности в том, что они вернутся с какими-нибудь сведениями о Ратенау. Даже можно было заранее сказать, что он туда не поехал.

Хотя события разворачивались стремительно, Курбатов не забывал приказ генерала — собирать как можно больше фактов, — они были необходимы сейчас. Поэтому, выполняя распоряжение, Курбатов сказал Брянцеву:

— Поедете в Солнечные Горки, познакомьтесь с Кисляковой. Кое-что я о ней уже узнал. Женщина излишне веселая... кажется, вторично замужем. Проверите ее знакомства,

личную жизнь и так далее. Ну, как действовать — выбор ваш.

Дав задание Брянцеву, Курбатов поехал к заводу. У ворот он остановился, потом, повернувшись, быстро пошел прочь. «Я — Позднышев. Спешу к другу. Предположим, в ресторан «Московский». Спешу не потому, что времени в обрез, а по привычке. Позднышев быстро ходит».

Свернув на набережную канала, Курбатов взглянул на часы. Прошло десять минут. Хорошо, пока всё правильно.

Но, подойдя ближе к мосту, Курбатов замедлил шаг. Там, где всегда был вход на мост, стоял, захватив полукругом часть набережной, высокий забор. Бумажный плакат с надписью «Мост закрыт» пожелтел от солнца, — значит, ремонтируют давно. Курбатов подошел к парапету и перегнулся через него. Настил был разобран, над водой висели две тонкие, выкрашенные суриком балки. Обходить далеко. Надо отставить «Московский» и идти назад.

Вернувшись к заводу, Курбатов направился в ресторан «Приморский». Издали он увидел, что у подъезда стоят три голубых автобуса экскурсионного бюро. Швейцар с окладистой бородой сказал:

— Уважаемый, сегодня нельзя, занято. Вот вчера бы пришли — пожалуйста.

— А в субботу? — поинтересовался Курбатов.

— В субботу зал тоже арендовали. Справлял юбилей «Инкоопчас».

Швейцар радовался разговору, но Курбатов спешил: осталось еще три ресторана.

«Бристоль» был открыт. Курбатов спросил северянку в томате с шампиньонами. Это блюдо, как установили врачи, и ел Позднышев в тот вечер.

Директор ресторана, тучный, низенький, с маленькими бегающими глазками, заговорил бойко и словно извиняясь:

— Да, да, я понимаю. Шампиньоны — это... Вы должны требовать шампиньоны, вы правы, вы правы. Но разве я всё могу? Нет, я не всё могу. Знаете, с утра до ночи бегаю, устраиваю, договариваюсь. Поверите, на заводе лучше, спокойнее. Жена и так уже говорит: ты худеешь. Но как уйти? Надо же питать людей, надо, чтобы они удовольствие имели...

Он, забегаая вперед, проводил Курбатова до выхода, сам открыл дверь и долго смотрел ему вслед, пытаюсь, видимо, догадаться, какие неприятности последуют за таким посещением, — ведь директор не сомневался, что к нему приходил ревизор из торговой комиссии.

В ресторане «Радуга» Курбатова приняла строгая, деловитая женщина-калькулятор; директора не было. Она объяснила, что рыба у них есть любая, а с грибами туго. Вот в «Северном» — там всё проще: есть договор с одним совхозом, имеющим шампиньонницу.

Курбатов шел в «Северный» не торопясь, на ходу обдумывая, как найти официанта. «Посижу за столиком, осмотрюсь. Там виднее станет». Он посмотрел, сколько у него

с собой денег, и, согнав с лица озабоченное выражение, направился к услужливо раскрытому подъезду.

3

Уже второй день Брянцев жил в Солнечных Горках. Он приехал сюда в понедельник, быстро нашел нужную ему улицу и, только выйдя на нее, пошел медленно, через забор окликая хозяев, переговариваясь с ними о цене комнат. Начинался дачный сезон, у многих уже всё было сдано, и Брянцев сильно беспокоился, что в доме Кисляковой ему тоже могут отказать. «Всё равно сниму, переплачу в крайнем случае».

Застекленная веранда, именно такая, какие любят дачники, была еще закрыта, в углу, через стекло, видны доски, лопата, грабли. Двустворчатое окошко под крышей было настолько запылено, что в нем не отражались ни деревья, вытянувшиеся вдоль забора, ни яркое бездонное небо.

Брянцев обошел дом, поднялся на крыльцо. Ему открыла высокая светловолосая женщина в цветастом халате и домашних туфлях на босу ногу. Увидев незнакомого офицера, она смущенно стала застегивать верхние пуговицы халата. Брянцев, не зная, куда отвести взгляд, смотрел ей прямо в глаза, и она улыбнулась ему:

— Вы ко мне? Наверное, комната нужна? Проходите, пожалуйста.

Она провела Брянцева в коридор, потом попросила его минутку обождать, а когда позвала в комнату, там было уже кое-как при-

брано, пахло крепкими духами и в углу урчал пузатый чайник на плитке.

— Простите, что у меня такой беспорядок. Ночью дежурила, — я работаю телефонисткой. Пришла, сразу легла и вот только встала. И вдруг — вы. У меня обычно постоянные дачники, семья одного врача, но в этом году они уехали куда-то на юг, и я могу сдать другим. Приходило уже много желающих, но всё с детьми, а я, знаете, не очень люблю ребятишек, хлопотно с ними.

Она не любит детей. Брянцева удивило это признание.

— Вы ведь один жить у меня будете? Пойдемте, покажу. Вам, наверное, наверху больше понравится?

Они поднялись по узкой, скрипучей лестнице. Комната была маленькая, с низким потолком, и Брянцев с радостью подумал, что жить здесь ему придется не так уж долго. Зато обзор из окна широкий: видна и калитка, и двор, и улица. Он согласился.

— Убрать и помыть я не смогу. Некогда, и вообще терпеть не могу возиться с тряпкой. Вы соседку попросите, она всё сделает.

Потом они снова сидели внизу, и Брянцев рассказал о себе: он офицер, приехал поступать в академию. До экзаменов еще далеко, но в большом городе есть библиотеки, можно заниматься. Там, где стоит его часть, трудно достать нужные книги. А учился он давно, забыл многое, и теперь придется засесть за учебники. Здесь, в Солнечных Горках, ему, наверное, никто мешать не будет.

Кислякова не спросила, где стоит его часть,

и Брянцеву это понравилось. Видимо, она не думала об этом и не заметила, что можно было спросить будто бы просто так, невзначай, по ходу разговора.

Расспрашивать в свою очередь Брянцев не торопился, боясь насторожить Кислякову. Он видел, что говорит она охотно и свободно, не задумываясь, и если что-нибудь надо будет у нее узнать, то большого труда на это, наверное, не потребуется.

Вскоре Кислякова собралась уходить: ей надо в магазин, за штапельным полотном. Брянцев сказал, что не знает, как быть с пропиской, он впервые станет жить на частной квартире. Наверное, придется съездить в академию, взять какую-нибудь справочку.

Нет, она тоже не знает, как прописывают военных, но по пути зайдет в милицию и спросит. Кстати, если он хочет есть, то в шкафу найдет хлеб, ветчину, на плитке можно приготовить пельмени, они в погребе. В общем, пусть чувствует себя хозяином. Вот ключи.

У калитки она обернулась:

— Константин Георгиевич, я вернусь в двенадцать. Надеюсь, вы еще не будете спать?

«Птичка божья», — подумал Брянцев, глядя, как Кислякова выпорхнула на улицу и за кустами несколько раз мелькнуло яркое платье.

Он сходил на вокзал за чемоданом и нарочно оставил его в прихожей, чтобы видны были наклейки. Потом попросил соседку убрать в комнате.

Засучив рукава, пожилая полная женщина мыла окно, протирала стекло мелом, и Брянцев, сняв китель, несколько раз ходил к колодцу за водой. Женщина ворчала: «Столько грязи накопилось», — а потом в сердцах махнула рукой:

— Не пойму я ее, Марию. Ведь уже не молодая, тридцать два года скоро, пора бы и о семье подумать. Ан, нет. Всё у нее несерьезно как-то получается. Первый-то муж хороший человек был, на войне погиб.

— Она, кажется, второй раз замуж вышла?

— Тоже мужчина видный был, степенный. В железнодорожниках служил. Но, кто знает, что у них там получилось, — трах-бах, развелась. А потом оказывается: сбежал муженек, даже на суд не явился. Только объявление в газете дал. Так вот и ходит она сейчас, не то замужняя, не то холостая.

Кончив уборку, соседка ушла, сказав, что если понадобится еще что-нибудь, она всегда сделает:

— На Марию не надейтесь, она и о себе-то не позаботится.

Под вечер Брянцев поехал в город. Он рассказал Курбатову, как устроился и что успел узнать. Майор был задумчив и немногословен:

— С вашей характеристикой Кисляковой я согласен. Именно такой ее и представлял. Да, пожалуй, она не из пятерых. Но вот на второй странный брак обратите внимание. Что-то в нем есть. Завтра посмотрите

объявление в газете, думаю — пригодится. А пока живите там, понадобитесь — позову.

В Солнечные Горки Брянцев вернулся часов в десять. К себе наверх он подниматься не стал, зажег свет в комнате хозяйки, сел на диван и закурил.

Несмотря на сумеречный час, на бледный свет лампы, смягченный матовым абажуром, и тонкий запах каких-то ранних цветов, струившийся в полураскрытое окно, Брянцеву было неуютно и почему-то зябко. Он подумал о хозяйке, подумал с неприязнью, что вот живет она без забот, без прочных привязанностей.

И Брянцев с неожиданной для самого себя нежностью и теплотой вспомнил другую женщину, совсем не похожую на Кислякову, ту женщину, которая стала единственной, родной, любимой.

«Милая, милая моя Танюша... Помнишь, мы встретились впервые в поезде, нам ехать было далеко, и те несколько дней мы то ссорились, то мирились; да и знакомство наше началось как-то необычно. Рядом с тобой сидела какая-то бабушка с внучатами, младший капризничал, просил сахару, и старушка лезла в мешок, доставала потертую, мятую пачку рафинада, брала кусок и клала его в рот мальчонке. Старший сидел насупясь; он, видно, тоже хотел сахару, но не просил. А бабушка клала и клала в рот младшего кусок за куском и, виновато поглядывая на соседей, объясняла: «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало». Женщина, сидевшая напротив, вздохнула и задумчиво проговорила,

что уж это, дескать, всегда так, что младший — самый любимый.

Когда они вышли, ты сердито посмотрела на всех и сказала: «Никого она из них не любит. Кто любит, тот не потакает». Не все с тобой согласились. Мы долго спорили, спор вырос, перекинулся на большую тему, и я до сих пор помню твои слова о том, что любить людей — значит бороться за то лучшее, что в них есть. Мне пришла тогда на память жизнь Дзержинского, его борьба с беспризорничеством — это ведь тоже была борьба за человека. Вспомнил, как он ловил на Лубянке карманников и они считали его бессердечным человеком, — его, который отдал серебряную чернильницу, единственную свою драгоценность, подарок сына, чтобы они не голодали... Да, человека надо любить, ты права.

Милая, помнишь, много времени спустя мы сидели в тесной узкой комнате, где стоял только стол, покрытый газетами, да два табурета. Ты приехала тогда ко мне навсегда, и я был рад, что у нас есть дом и мы с тобой — маленькая, но семья. Был Новый год, и мы тогда купили немного вина и любимую твою баклажанную икру. Уже было почти двенадцать, как вдруг ты спросила, почему у соседки тихо. Я ответил, что она одна, ей не выплатили вó-время пенсию и она постеснялась идти к знакомым, у которых была складчина. Ты тогда встала и пошла за соседкой. Ты сказала, что не можешь быть счастливой, если у соседей плохо, тебе не нужно счастья в одиночку. И мы встретили Новый год втроем, и, честное слово, я был счастлив в тот вечер.

Потом нам приходилось часто ездить, служба не давала засиживаться, но ты не огорчалась. Ты говорила мне, что быть нужным — это счастье. Да, это огромное счастье, родная, — быть нужным народу.

Хорошая моя, вот и сейчас, наверное, ты ждешь меня, как ожидаешь всегда.

Но ты не одна, перед тобой тетради твоих учениц, которых ты любишь не меньше, чем меня и нашу дочку, но другой любовью. Ведь у человека должна быть не одна любовь, правда? Любовь к Родине, к ребенку, к своему делу, — и каждая не меньше другой. И только когда человек любит так много, он живет большой жизнью...»

Брянцев потрогал папиросу, — она потухла. Он, улыбнувшись уголком губ, посмотрел на почерневший кончик и подумал: «Скучает, родная... Говорят — примета, а мне хочется верить ей, примете».

Он оглядел комнату, потом обошел вокруг стола; ему захотелось посмотреть, полистать какую-нибудь книгу, но он ничего не нашел. Очевидно, хозяйка не читала книг. Тогда Брянцев взял с этажерки альбом, положил его на колени и раскрыл.

На первом листе были аккуратно, уголками, врезаны фотографии родителей Кисляковой, — их можно было легко узнать: у матери такие же глаза и губы, а у отца — небольшой нос с горбинкой. Потом — Кислякова-школьница, всё взрослее и взрослее... Подруги... На оборотах смешные надписи, крупный, по-детски одинаковый почерк... Первый паренек, — он выглядит моложе, чем Ки-

слякова. Она уже девушка, лет семнадцати... Сидит на камне, обхватив колени. Снято здесь, в Солнечных Горках, надо думать... Лейтенант, в необновленной еще форме. Это ее муж. Подпись, дата, — июнь, сорок первый.

А дальше другие мужчины — военные, штатские... и подписи нехорошие, нескромные... Который же из них второй муж?

Кислякова вошла стремительно и рывком бросила сумочку на стол:

— Фу, еле отстояла очередь. Вы, я думала, не дождетесь.

— Нет, почему же, вот сижу, коротаю время.

— Ну и хорошо. Чайку выпьем? У меня и еще кое-что найдется. — Она лукаво подмигнула и рассмеялась. — Люблю, знаете, на ночь чего-нибудь выпить, вина хорошего, например. Спится крепче.

Кислякова поставила на плитку чайник, потом открыла буфет:

— Что же это вы ничего не ели? Не хотели? Бросьте, пожалуйста. А я думала, что воснные пигде не теряются...

Она быстро сделала два бутерброда и один протянула Брянцеву. Он взял и взглядом пригласил ее сесть рядом. Кислякова откинулась на подушки, и Брянцев искоса поглядывал на нее.

— Лейтенант, вы альбом смотрели, скажите, когда я лучше была, сейчас или двенадцать лет назад?

Брянцев недоуменно пожал плечами.

— Трудно сказать; тогда вы, конечно, были

моложе. Но дело не в этом, каждый возраст по-своему хорош.

— А вот еще одна, последняя... Я ее в альбом не вложила, фотография с браком.

Она вынула из ящика фотографию и протянула Брянцеву:

— Ну, как?

Фотография была аккуратно склеена из четырех обрывков, снимок сделан умело. Кислякова в летнем платье стоит у воды, спиной к заливу. Дальше какие-то строения. Интересно, где это? Это не дома, не сараи... Форты! Ну да, форты!

Брянцев вернул Кисляковой снимок и сказал:

— Хорошая фотография. А чего ж вы ее порвали?

— Да не я, муж. Я тоже ему говорила — хорошая, а он заартачился и порвал. Потом пошел пива выпить, а я собрала... Да, вы правы, здесь я действительно хорошо вышла.

«Ловко придумано, — заметил про себя Брянцев. — Снято почти всё, что требуется опытному разведчику. Но Кислякова, разумеется, и не догадывается ни о чем».

— Совсем недавно снималась, какой-нибудь месяц назад, — щебетала Кислякова, заваривая чай.

— А где же? Вид очень красивый...

— Не знаю. Ездили мы на машине, купались, загорали. Далеко отсюда, на побережье. Потом еще пароходом как-то ехали, он тоже снимал. Но и те карточки не вышли. Качка помешала. У мужа аппарат с длинной труб-

кой был, знаете? Никак он меня в какой-то фокус поймать не мог.

Перед чаем Кислякова немного выпила, покраснелась и добавила еще вина в чашки. Брянцев старался поддержать ее веселое настроение, пошутил насчет того, что неожиданно-негаданно попал на выпивку, что у него хозяйка — дай бог каждому и он теперь живет, как на даче. Потом осторожно спросил:

— У вас, Мария Ильинична, своя фамилия или мужа?

— Мужа. Первого мужа.

— А у второго какая?

— Никодимов, Сергей Борисович... Да что вы, Константин Георгиевич, спрашиваете. Я теперь незамужняя, свободная. Пожалуйста, — влюбляйтесь.

— Куда уж мне. Экзамены сдавать нужно... А вы что, развелись?

— Кто его знает, — в ее смехе прозвучала горечь. — Объявление дали, а суда не было. Муж куда-то пропал, может несчастье какое-нибудь случилось. Там-то, в суде, его искали. Адрес, говорят, неверный. Не знаю, что и подумать...

Кажется, уже всё ясно. Брак этот — неспроста. Какая же цель? Неужели — объявление?..

А Кислякова продолжала:

— Недели две прожили хорошо. А затем стал скандалить. Это ему не нравится, другое... В общем, развелись.

— Ну, ничего, ничего, Мария Ильинична. Может, и найдется...

— Я бы снова его приняла, лишь бы цел вернулся.

Брянцев взял альбом и, показав на первую же попавшуюся ему фотографию мужчины, спросил:

— Это он?

— Нет... Обещал, но так и не дал своей фотографии. Ничего у меня после него не осталось.

— Да... Вам утром опять на дежурство? — перевел разговор Брянцев. Он снова заговорил о другом, пошутил, что скоро уже соловьи запоют и что от слёз цвет лица портится, и, видя, как Кислякова снова повеселела, через некоторое время встал — ему завтра надо заниматься, а от вина в голове шумит. Пожелав хозяйке спокойной ночи, Брянцев поднялся к себе.

На другой день он зашел в редакцию районной газеты, попросил подшивку, отыскал номер с объявлением и списал его.

В поезде, на пути в город, Брянцев внимательно перечитал объявление, но ничего особенного не заметил: «Никодимов Сергей Борисович, прож. Столбовая ул., 16, кв. 5, возбуждает дело о разводе с Кисляковой Марией Ильиничной... Дело подлежит рассмотрению в нарсуде 2-го участка Солнечногорского района».

До Столбовой улицы Брянцев доехал в такси, — ему не терпелось узнать, кто там живет: может, удастся найти этого проклятого железнодорожника. Брянцев был уверен, что это тот железнодорожник, который пришел

в подвал с перевязанной рукой и сказал, что взорвал водокачку.

Пятая квартира в первом этаже. Брянцев увидел сперва потускневший, погнутый жестяной номер, а потом, ниже, возле самой ручки, длинную, поперек всей двери, скобу и замок. Он в недоумении постоял, затем спросил вышедшего из соседней двери мужчину в белом колпачке и переднике:

— Скажите, в пятой квартире... уехал жилец?

— Нет, тут никто не живет. Здесь кладовая нашего ресторана.

Брянцев вернулся на улицу растерянный. Из вестибюля ресторана он позвонил майору, но там никто не поднял трубку; позвонил дежурному, тот ответил, что майора нет, ушел с утра. Брянцев сдал гардеробщику фуражку и направился в зал. На повороте, там, где во всю стену вставлено зеркало, он остановился, оправляя китель, взглянул на свое отражение и... обомлел. К нему спиной стоял Курбатов и, смеясь в зеркало, смотрел на Брянцева.

— Товарищ лейтенант, как вы думаете, почему мы с вами здесь встретились? — тихо спросил майор, причесывая светлые волосы.

4

Они сидели за столиком, и Брянцеву казалось неправильным, что они вместе. Когда Курбатов вошел в зал, лейтенант еще немного задержался у зеркала, чтобы войти позже и сесть в другом конце, подальше от начальника. Но, проходя между колонн, он встретился

взглядом с майором и понял: надо занять место рядом. Брянцев вежливо поклонился Курбатову и нарочито громко спросил:

— Здесь свободно?

И вот теперь они сидели вместе. Курбатов взял меню и внимательно его рассматривал. Брянцев закурил, всё еще пытаясь понять, почему, действительно, они встретились в этом ресторане и почему, спрашивая об этом, майор так загадочно улыбался.

В этот ранний час в ресторане было тихо. У буфета два официанта разговаривали с третьим, стоявшим за стойкой, и поглядывали на немногочисленных посетителей.

Брянцев начал вполголоса рассказывать о Кисляковой, но Курбатов прервал его и сказал: «Дальше! Почему вы пришли сюда?» — Брянцев объяснил, что он шел по адресу, указанному в объявлении, адрес неверный, и ему захотелось подумать о случившемся.

— Как фамилия мужа? Сергей Никодимов? Хорошо. Что еще в объявлении?

Курбатов, с видом завсегдатая этого ресторана, поводит пальцем по меню, потом, повернувшись к официантам, крикнул:

— Сергей!

Один из официантов обернулся на зов, поправил на руке салфетку и подошел к столу.

— Простите, вы меня звали?

— Да, Сергей, дайте нам, пожалуйста... — Курбатов поглаживал подбородок, словно раздумывая, затем поднял голову. Но официант опередил его:

— Простите, но я не Сергей.

— Разве? Вы не Сергей Никодимов?

— К сожалению, нет. Несколько дней назад у нас работал Никодим Сергеев, эти столики как раз обслуживал, но его уже нет. Вы ошиблись, уважаемый.

— Ах да, совершенно верно. Никодим! Правильно, Никодим! — будто бы вспоминая, воскликнул Курбатов, и рассмеялся. — И как это я забыл? Такой симпатичный товарищ был. Где же он?

— Не знаю. Уволился. Что прикажете?

Курбатов снова наклонился к меню и как бы невзначай задел Брянцева:

— Нам севрюгу в томате с грибами, а? Для начала...

— Пожалуйста. Две? — официант записывал. — Замечательная закуска, да мало кто берет, не знают, наверное. Деликатес!

Когда он отошел, Курбатов взглянул на Брянцева и подмигнул:

— Не боитесь, что отравят?

Они ели медленно. Подцепив на вилку упругий, хрупкий, словно из фарфора, гриб, Курбатов протянул:

— Да-а! Хороши!

Затем майор поднялся и пошел к двери, спрятанной за колоннами. Брянцев остался. Курбатов, уходя, приказал ему ждать, и он, подозревая официанта, заказал пива.

Директор был один, и Курбатов, предъявив удостоверение, начал расспрашивать о Сергееве.

— Работник хороший, вежливый, старательный. Жалоб на него никогда не поступало.

Работал в ресторане давно, года три. Это легко уточнить по анкете. Уволился в субботу вечером. Получил телеграмму, где-то у него мать заболела, надо было срочно ехать. Я предложил отпуск, но он сказал, что отпуска ему, возможно, нехватит. Умрет мать — плоха уж больно, — надо будет продать дом, а это нелегко. Уехал, наверное, в воскресенье. При мне по телефону билет заказывал.

— Ему в тот вечер никто не звонил?

— Вот этого не могу сказать. У нас два телефона — один у меня, другой — где официанты переодеваются. А что случилось?

— Так, ничего особенного. Вы не проведете меня в ту комнату?

Там стояли высокие шкафчики для верхней одежды, столик, диван. Курбатов попросил показать ему блокноты, куда официанты записывают заказы, и директор, порывшись в столе, достал их.

— Который Никодима Сергеева?

Директор подал один:

— Кажется, этот. — Курбатов вопросительно поднял бровь, и директор поправился: — Да, да, этот. Точно. Видите — последний, половина только исписана.

Курбатов листал блокнот. Нет, севрюги с грибами не видно. Он снова перелистал блокнот. Один листок вырван... Да, в самом конце... Что ж, всё равно прочтем. Оттиск от карандаша остался на соседнем листке. Видно, дрожь взяла негодяя, не учел.

Брянцев вышел вслед за Курбатовым и на улице догнал его. Майор улыбнулся:

— Ну вот, кажется, нашли след одного. Да, не сомневаюсь, что нашли...

— Да ведь ничего неизвестно, товарищ майор. Чего радоваться?

— А вы думали, всё будет просто, раскрой ладонь и бери? Нет, брат, не всё сразу.

— Ну что мы знаем? Так... фигуры в белом... привидения.

— Что вы? Много знаем, дорогой! Во-первых, знаем, что Позднышева отравил Никодим Сергеев, официант. Уверен, экспертиза прочтет, что было записано на вырванном листке, и подтвердит мои предположения. Во-вторых... вы думаете, объявление им в самом деле для развода было нужно? Нет, конечно! Адрес фальшивый. Неспроста мужа Кисляковой звали Сергеем Никодимовым, а официанта — Никодимом Сергеевым. Это всё неспроста, дорогой Константин Георгиевич. Здесь — шифр. Ресторан — место явки. Для кого? Еще неизвестно, и об этом я в первую очередь доложу генералу. Но мне ясно, что кто-то должен прийти к официанту, связаться с ним. Вы говорите, может, уже приходили? Не думаю. Сигнал дан не для того, кому можно в любой момент позвонить, написать, телеграфировать. Не правильней ли предположить, что этот сигнал для того, кто далеко, возможно — за пределами нашей страны? И фотографии фортов, снятых с парохода, тоже предназначаются ему. Переходил такой человек границу? Если нет, то должен... Пожалуй, он сюда и явится.. Вот видите! А вы говорите — мало!

Он помолчал и прибавил:

— Съездите-ка в последний раз к Кисляковой, скажите, что встретили в городе приятеля и будете жить у него. Знаю, знаю, — вам домой хочется, но надо считаться с людьми. Кислякова всё-таки неплохой человек? Пусть сдаст вашу комнату другому... Ничего, обернетесь быстро. А завтра вы мне будете нужны.

Из кабинета Курбатов позвонил в больницу.

— Позднышев? — переспросили в справочном столе. — Состояние плохое, в сознание не приходит.

Он осторожно, будто боясь нечаянным стуком потревожить больного, положил трубку на место и взглянул на Брянцева:

— А впрочем, вы мне уже сегодня будете нужны. Вот, поглядите-ка, — он протянул Брянцеву синий конверт. Адрес был отпечатан на машинке, так же как и письмо.

«Уважаемые товарищи!

Считаю своим гражданским долгом сообщить Вам нижеследующее. На заводе «Электрик» творятся нехорошие вещи. Так некая Воронова Е. П., по своему положению инженер, использовала свое это положение, чтобы неправильно смонтировать генератор на Кушминской ГЭС и тем самым совершить аварию. Обращаю Ваше внимание также на то, что человек этот не заслуживает политического доверия, так как по моим сведениям была у немцев и как попала через фронт, остается фактической загадкой.

С уважением к Вам»...

Подпись, конечно, разобрать было невозможно.

— Анонимка, — поморщился Брянцев. — Донос, мерзость!

Курбатов взял письмо назад.

— Что мерзость — это я с вами согласен. Кстати, учтите, что обе комиссии Воронову совершенно реабилитировали. А больше вы ничего не вынесли из письма?

— Вынес: написано безграмотно. Впрочем, это можно было сделать и нарочно.

— Ну, а еще? Больше ничего не заметили? Вот, сравните.

На этот раз Курбатов протянул ему вместе с письмом какую-то другую бумагу, и Брянцев, едва взглянув на нее, узнал сразу: это были те сведения, не военные, а другие, экономические, но тоже секретные, что были найдены при обыске у Ратенау.

Брянцев положил оба листка рядом, расправил их ладонями и чертыхнулся, — оба текста были напечатаны на одной и той же машинке!

— Богатое поле для размышлений, — сказал он, усмехнувшись.

— Давайте думать вместе. Я полночи из-за этого письма заснуть не мог. Кому-то нужно опорочить Воронову и этим отвести удар от себя. Писавший не знает, что донесение, которое он дал Ратенау, — у нас.

— А может быть, это писали разные люди? — тихо спросил Брянцев.

— Исключается, — ответил Курбатов. — Письмо и донесение писал один человек. Он не в ладах с точкой: ставя точку, нажимает

верхний регистр, и машинка выбивает семерку, потом он стирает ее и после этого ставит точку.

— Верно, — согласился Брянцев.

— Поехали дальше, — продолжал Курбатов. — Автор хотел добиться одной цели — опорочить Воронову. А я... Очень мне не нравится, что «улики» приходят сами собой, и склонен попрежнему считать Воронову совершенно непричастной к этому делу... вернее, причастной с хорошей стороны.

Их разговор прервал телефонный звонок: звонили по внутреннему телефону. Курбатов снял трубку, назвал себя и, нахмурившись, выслушал, что ему говорят.

— Слушаюсь. Сейчас приду.

— Да, — повернулся он к Брянцеву, кончая разговор, — вот что надо сейчас, товарищ лейтенант. Генералу сообщили из управления погранвойск, что через границу пропущен с той стороны один... гость. События развернутся не сегодня-завтра. А это значит, что мы несколько отвлечемся от дел на заводе и ГЭС.

— Но, товарищ майор... — Брянцев не договорил.

Курбатов нагнулся и что-то искал в нижних ящиках стола, и Брянцеву стало ясно, что спор — тот необходимый в каждом деле творческий спор, в котором рождается истина, — кончился, и в силу вступил приказ, обязательный к исполнению, приказ не только Курбатова, но и того, кто только что с ним разговаривал по телефону.

Хиггинс жил последнее время в Польше, именовал себя то журналистом, то представителем частной фирмы. Он устроил диверсию на новом турбостроительном заводе в Эльблонге и едва не попался. Пришлось спешно перебираться в Мюнхен. Там его вызвал полковник Роулен:

— Вы не оправдали нашего доверия, Хиггинс.

— Но...

— Никаких «но», мы знаем ваши оправдания: коммунистический режим, отличная контрразведка, мало старых связей... Это всё давние песни. Чему вас учили пять лет? К сожалению, закон Трумэна принят для таких трусов, как вы.

— Я...

— Вы уже показали свое «я». Слушайте, Хиггинс, вам предстоит еще поездка. В Россию. А?

Роулен увидел, как у Хиггинса отвисла нижняя челюсть. Конечно, в Россию ехать страшно. Теперь Роулен говорил мягче, он пытался убеждать, в голосе у него появились заискивающие нотки:

— Дело, в сущности, чепуховое, Хиггинс. Надо просто встретиться кое с кем, передать два-три задания, деньги и проследить, чтобы деньги были заплачены не за красивые глазки, а за дело.

Хиггинс усмехнулся:

— Ничего себе, чепуховое!

— Вы недалекий человек. Мы хотим обеспечить вам будущее. Мужайтесь, Хиггинс, со временем вы станете там крупной фигурой — я говорю о России после третьей мировой войны.

Хиггинс знал: агенты в России быстро проваливаются. Риск большой. Ну, хорошо, он передаст деньги. А что он сам будет иметь?.. Роулен словно угадал:

— Восемь тысяч, Хиггинс. Вас устраивает?

— Ладно. — К Хиггинсу вернулась обычная его развязность, он прятал под нею страх. — За восемь я пойду, но учтите, если вы предложите мне мимоходом выкрасть какие-нибудь чертежи или кинуть за окошко поезда пробирку с энцефалитным вирусом — я пошлю вас к чёрту и поеду домой репортером в провинциальную газетенку.

Роулен снова усмехнулся:

— Ну, ну, не расстраивайтесь. Между прочим, вам придется встретиться с одним нашим знакомым. Вы ахнете, когда я скажу.

— Да?

— Помните О'Найта?

Хиггинс приподнялся в кресле. Найт погиб, об этом говорили еще в тридцать восьмом году. Роулен подошел к Хиггинсу и хлопнул его по плечу:

— Вот как надо работать, дорогой мой. Хотите, расскажу?

— Конечно!

— Мы послали Найта в Германию, но ему там нечего было делать, нас больше интересовала Россия. Найт и пробрался в сорок пер-

вом году в Россию, да не один, а с четырьмя немецкими агентами. Он всегда был хитрым малым, — Найт. Он заставил своих идиотов бездельничать до конца войны. Потом ему удалось сообщить о себе нам. Словом, Найт передал нам хорошо законспирированную группу. Деньги им посылаются. Они, таким образом, перевербованы, и на них можно положиться. Недавно они начали действовать. Вы читали о взрыве на этой... на ГЭС? Мы пишем: у коммунистов нет охраны труда.

— Значит, Найт руководит группой?

— Да. Согласитесь, операция блестящая.

— В сорок первом году... — начал было Хиггинс, но Роулен перебил его:

— В сорок первом году мы уже знали, что Найты в России нам понадобятся на будущее. Это была дальновидная политика... Словом, поезжайте, Хиггинс. У вас, кажется, дочь в Канзасе?

Хиггинс поморщился. Ему был знаком этот прием шефа, — у вас есть дочь, и вы обязаны оградить ее от русских бомб. «Шеф считает и меня болваном».

Наконец, Роулен перешел к заданиям. Он назвал завод «Электрик», металлургический комбинат в Высоцке. Организовать диверсии, и похитрее:

— Взрыв в Эльблонге был топорной работой. Больше связей! Вы — человек с размахом, так поставьте дело на широкую ногу.

Затем Роулен передал Хиггинсу деньги, шифр и заставил несколько раз повторить трудную русскую фамилию — Тищенко. Этот человек несколько лет назад сболтнул лишнее,

можно использовать. Сейчас он работает в Высоцке.

На следующий день Хиггинс вылетел в страну, граничащую с Россией. У него был адрес ресторана в советском городе. Если Никодим Сергеев, помощник Найта, не официант, то тогда он продавец в обувном магазине на проспекте Красных Зорь. Он даст ему, Хиггинсу, адрес Найта.

...Границу переходили ночью... Было темно, ночи на севере звездны, но безлунны. Лодка пересекла озеро, мягко ткнулась в илистое дно, и гребец дернул Хиггинса за рукав. Тот встал. Гребец поднял Хиггинса на руки и пронес шагов пятьдесят.

— Вы в ручье, — шепнул он и исчез в темноте. Хиггинс пошел по руслу ручья, медленно переставляя ноги.

Рассвет застал его далеко от границы. Он вздохнул с облегчением и сориентировался по карте. До станции было километров десять. Пропуск в пограничную зону лежал у него в кармане. Он сунул карту, лупу и компас под корягу и вышел к дороге, не таясь.

На станции ждали поезда. Усталый мужчина с пачкой книг по сельскому хозяйству, по виду агроном, взял билет до города. В вагоне к Хиггинсу обернулся молодой парень:

— Эй, товарищ, как вы насчет «шамайки»?

Хиггинс подсел к компании играющих и до самого города резался в карты.

...Когда с привокзальных ступенек схлынула и растеклась во все стороны толпа при-

ехавших, Хиггинс осмотрелся. Он был один, и никто как будто не следил за ним. На всякий случай он переменял три трамвая, выскочил из одного на ходу и посмотрел, не выпрыгнет ли кто следом? Нет. Хиггинс успокоился окончательно... И не знал он, не догадывался даже, что пока он пробирался там, через бурелом, пока шел еле заметной лесной тропкой, нарушителя границы видела не одна пара глаз, и не один пост сообщал на заставу ироническое: «прошел благополучно», «пропущен благополучно», «встречен благополучно».

Часа за полтора до прихода поезда генерал вызвал к себе капитана Звягинцева.

— Вы сегодня обедали?

— Нет еще, товарищ генерал.

— Ну, так поезжайте в ресторан «Северный» и займите один из столиков слева. В ресторане будет Брянцев. А если наш долгожданный гость сядет к вам за столик и разговорится, вы поддержите разговор...

Звягинцев доедал вишегрет, когда вошел Хиггинс. Он быстро осмотрел зал. То, что один из столиков слева был занят — один из тех столиков, что обслуживал Никодимов, несколько его не смутило. И, хотя было много свободных столиков, он подошел к тому, за которым сидел Звягинцев:

— Простите, у вас свободно?

— Да, да, пожалуйста, — Звягинцев даже глаз на него не поднял, занятый едой.

Хиггинс сел и, словно бы извиняясь, пояснил:

— Терпеть не могу есть один, а если выпивать — и того пуще. Это англичане, говорят,

пьют в одиночку: запрется такой у себя и — хлоп пол-литра!

Подошел официант. Хиггинс спросил:

— А что, скажите, соленых груздей у вас не водится?

— Нету, нету... — официант хмыкнул. — Откуда же?

— Вот всегда так, — снова повернулся Хиггинс к Звягинцеву. — Осень пройдет, заготконторы бездельничают, а весной иногда так захочется груздя или брусники моченой, и — нигде нет...

— Да, — сочувственно согласился Звягинцев. — Неважно работают заготконторы.

Звягинцев был весь как натянутая струна. Он не ошибся, подумав, что вопрос официанту о груздях был паролем, но не знал, ответил ли официант так, как требовалось.

Хиггинс спросил, нет ли у товарища газеты. В дороге не удалось купить. Газеты у Звягинцева не было; тогда Хиггинс спросил, что слышно нового об Иране. Это сейчас ох какой важный вопрос.

Хиггинс держался свободно, и Звягинцев подумал: верно опытный разведчик, не мелкая сошка.

Ему принесли в запотевшем графинчике двести граммов водки, и он потребовал вторую стопку.

— Я вас очень прошу... Ну, не могу один...

— Что ж, — Звягинцев пододвинул стопку, — только тогда уж и я закажу.

Хиггинс выпил, закусил и сказал, что обстановка вообще напряженная, что американцы не жалеют средств на бомбы да шпионов.

Ему хотелось узнать, что думают русские, — узнать не из газет, а в беседе, за водкой. Звягинцев понимал это и поддерживал разговор, рассчитывая, что американец всё-таки выдаст себя.

За другим столиком расплачивался с официантом Брянцев. Потом он вышел, не оборачиваясь. Звягинцев равнодушно поглядел ему вслед. Он не торопился отвечать Хиггину, обдумывал каждое слово. Но вскоре «бомбы и шпионы» Хиггину надоели, он заказал еще двести граммов, речь шла теперь о зарплате, о командировочных, о том, что ежегодное снижение цен — это здорово, а в следующем году, надо полагать, будет еще одно. «Вот они все какие, — думал Звягинцев. — Они бойко расскажут и о международных событиях, и о снижении цен, но всего этого они не чувствуют так, как мы, и как ни стараются выдать себя за советского человека, — не выходит. У нашего, если он говорит о врагах — сами сжимаются кулаки и голос крепнет».

Хиггинс взглянул на часы и заторопился:

— Опаздываю на завод, директор назначил к четырем. Всего доброго, спасибо за компанию.

И когда он вышел, какой-то человек в сквере напротив проводил его взглядом, потом словно нехотя захлопнул книгу — жаль, хороший роман! — и поднялся со скамейки.

2

Проспект Красных Зорь тянется почти через весь город, прямой и просторный, оживленный в любое время. На нем театры

и магазины, здесь проводятся кроссы и назначаются свидания. Здесь строят девятиэтажный Дворец культуры, сажают по краям мостовой молодые тополя. Здесь нетрудно затесаться в толпу и идти, подчиняясь людскому потоку.

Хиггинс зашел в магазин. Курбатов стоял за стендом, спиной к Хиггинсу, и разглядывал носки и галстуки.

— Скажите, вы не получили партию полуботинок с застежками? — спросил у продавца Хиггинс.

— Нет, нет, — и продавец уже слушал следующего покупателя. Хиггинс осмотрел ящики, вздохнул и пошел к выходу. То же самое произошло и в другом магазине, и в третьем. Курбатов уже начал опасаться, что Хиггинс заметит его.

В четвертом, самом большом магазине продавец ответил:

— Пока нет, но скоро будут.

— Когда?

— Точно вам не скажу, но зайдите завтра, я вам приготовлю. Какой вам нужен номер?

Курбатов насторожился, — это походило на пароль.

— Что вы можете предложить сейчас?

— Сейчас? Есть неплохие скороходовские туфли, на двести тридцать рублей, — продавец снял с полки и поставил перед Хиггинсом коробку, тот сел и начал примерять. Курбатов оглянулся. Неподалеку стоял один из помощников Звягинцева, можно было уходить, но Курбатов медлил. Он напряженно думал: как

сейчас достать эту пару обуви? Быть может, внутри что-нибудь вложено! Продавец выписал чек и, вежливо согнувшись, отдал Хиггинсу. «Сейчас он пойдет платить, — думал Курбатов. — Как же быть? Когда он возьмет ботинки — предложить ему триста рублей за них? Мол, спешу на поезд. Нет, чепуха! Не отдаст. Задержать Хиггинса? Рано, да и слишком важное решение, чтобы принимать его самому... Это всегда успеется».

Пока он думал, Хиггинс потолкался в отделе галантереи, поглядел на галстуки и пошел к выходу. Курбатов мельком оглянулся на продавца: тот провожал Хиггинса равнодушным взглядом. Продавца не удивило, значит, что клиент не платит по чеку.

Чек! Продавец написал всё, что было нужно, на чеке, и Хиггинс ушел!

Сейчас Курбатов решил приступить к третьему этапу своей работы. Два часа спустя, после спешного совещания у генерала, к тому же продавцу в тот же магазин пришел еще один посетитель и произнес пароль:

— Вы не получали партию полуботинок с застежками?

В этом был некоторый риск, если продавец ожидал только одного посетителя с паролем, — но и генерал и Курбатов решили пойти на него.

— Пока нет, — ответил продавец, — но скоро будут. — Он предложил скороходовские туфли за двести тридцать рублей и выписал чек. На чеке стояло: «Горская, Деповское шоссе, 3. Конст. Игн.».

Этим же вечером арестованного продавца допрашивал Курбатов:

— Фамилия?

— Кушелев, Федор Федорович.

— А настоящая?

— Это настоящая фамилия. По паспорту.

Курбатов нахмурился. Он видел: паспорт — чистейшая подделка. Однако арестованный намерен заператься.

— Скажите, что это за адрес: Дёповская, три, Константин Игнатьевич?

— Я не знаю, меня просили передать...

— Кому?

— Кто спросит... Я вам всё расскажу, только не думайте, я не шпион, нет.

Курбатов усмехнулся: «Сейчас будет выдана слезная история». Кушелев говорил, глотая слюну, и длинными сухими пальцами оттягивал воротник:

— Я ничего не хотел делать, но, понимаете, ко мне домой пришли...

— Кстати, где вы живете? — перебил его Курбатов. Кушелев назвал адрес, указанный в паспорте.

— Это коммунальная квартира?

— Д-да...

— Неужели вы так наивны и думаете, что мы не проверили, Кушелев? Там вы никогда не жили. Ну, продолжайте. Куда же к вам пришли?

— Пришли?.. Ладно, теперь всё равно. — Он выпрямился, пальцы, сцепленные вместе, уже не ползли к тугому воротнику рубашки. —

Я был связан с одной женщиной, ее звали Аней Басовой. Мы были знакомы месяц, потом она сказала мне, что я уже завербован и чтоб не рыпался, иначе она пошлет сюда, к вам, документы.

— Какие документы?

— Я... Мы веселились. Ну, выпили. Я не помню. О чем-то говорили. Что-то сунули мне подписать.

Он замолчал, собираясь с мыслями, но Курбатов торопил его:

— Дальше, дальше.

— Дальше, я жил у нее три месяца, это где-то на Приморском шоссе, я адреса не знаю. А потом она сказала мне, чтобы я поступил работать в магазин, что ко мне придут и спросят...

— Про ботинки с застёжками?

— А? Да, да, про ботинки. Мне сообщили, что если я выполню это дело, то возвратят мой документ — тот, который я подписал. Поверьте мне...

— Кто обещал?

— Она. Аня.

— Могли бы вы найти дом, где она жила?

— Нет, вряд ли.

— Вы говорите неправду.

Кушелев привстал, кладя растопыренную пятерню на сердце, у него даже слёзы навернулись на глаза:

— Товарищ... простите, не знаю вашего звания...

Курбатов резко оборвал его:

— Я вам не товарищ. Садитесь и говорите правду, всю правду. Когда и как вы были

завербованы? Где, кто вас вербовал? Начи-
найте.

— Я сказал правду, — прошептал Куше-
лев. — Ей-богу, правду, вы просто не хотите
верить мне. Я сам ошарашен. Работать два
дня и...

— Значит, вы работаете только два дня?

— Да. В магазине.

— Ловко работаете, — улыбнулся Курба-
тов. Арестованный тоже засмеялся, мелко и
дробно, и развел руками.

Курбатову вдруг стало тошно смотреть на
этого человека; майор встал, прошелся по ком-
нате и сказал:

— А почему вы уволились из ресторана
«Северный»?

Курбатов увидел, что у человека, сидев-
шего перед ним, вздрогнули плечи и он снова
начал растягивать воротник.

— Я там никогда не работал... А чёрт
с ним, всё равно. Погубила она меня. Ну да,
работал, и хотел жить честно.

— Аня виновата?

— Да. Будь она проклята!

Курбатов перегнулся и спросил тихо, не
скрывая насмешки:

— И отравить Позднышева рыбным ядом
тоже она велела?

У Кушелева на лице не дрогнул ни один
мускул, он оцепенел, на лбу выступили капли
пота. Курбатов убедился, что попал в точку.

— Так вот, оставим в стороне несуще-
ствующую Аню и начнем... Ну, хотя бы с того,
как вас позвали к телефону и сказали вам...
Вы помните, что вам сказали?

— Я... не могу... задыхаюсь... — прошептал Кушелев.

— Вы не задыхались, когда подсыпали Позднышеву яд. Рассказывайте, мы знаем многое, учтите это... Никодим Сергеев.

Удар был точный. Сергеев-Кушелев, оторвал верхнюю пуговицу, и она упала на ковер. Острый кадык у него ходил вверх-вниз, вверх-вниз, он всё глотал набегавшую слюну.

— Начнем сначала? Итак, как ваша фамилия?

— Сергеев.

— А настоящая?

— Это настоящая фамилия.

— Что это за адрес: Дёповская, три, Константин Игнатьевич?

— Я не знаю.

— А кто такой Войшвиллов, вы тоже не знаете?

У Сергеева забежали глаза, он взглянул в сторону, будто рассчитывая увидеть там Войшвиллова, и, ничего не увидев в темном углу кабинета, не успокоился, — голос у него дрогнул:

— Ани не было, я всё... врал. Был Войшвиллов, я жил у него три месяца... Это он подsunул мне подписать какую-то бумагу.

— Где он жил, вы тоже не помните?

— Нет... Нет, не могу вспомнить.

Он даже лоб потер, доказывая, что память у него отшибло начисто. Курбатов глянул на часы. Допрос длился уже полтора часа.

— Кого, кроме Войшвиллова, вы еще знали?

— Никого, только его.

Курбатов сказал, как бы в раздумье:

— Странная у вас память, Сергеев. Я, например, знаю, что в сорок первом году линию фронта переходило пятеро, в том числе...

Курбатов не договорил нарочно. Сергеев был близок к тому, чтобы рассказать всё, и Курбатов это видел. Нехватало только последнего толчка.

Сергеев вскочил. У него сжались кулаки, потом он опустился на стул и махнул рукой:

— Да. Запираться больше не буду. Пишите: моя фамилия Скударевский, сын белоэмигранта генерала Скударевского. Работал в гестапо в тридцать шестом году... моим начальником был некий Ратенау, он же Войшвиллов, и он же Дьяков.

Скударевский-Сергеев уже торопился рассказывать:

— В сорок первом году мы были переведены через линию фронта, нас шло пятеро из русского отдела группы «Ост». Двое — немцы. Потом нам велели притаиться.

Курбатов перебил его:

— Кто велел?

— Этот, Васильев Константин Игнатьевич. Мы не понимали ничего. Я только после войны сообразил, что появился другой хозяин. Деньги шли к нам уже после войны... Кто их платил — вы знаете.

— Кто с вами был еще?

— Ратенау, Васильев и я. Больше я никого не знаю. Остальные двое связаны с Васильевым. Я их не видел.

Сейчас он, пожалуй, не врал. Немецкие

агенты часто работали так, двойками, и одна не знала другую.

— Васильев — это подлинная фамилия?

— Васильев — немец, прибалтийский немец фон Бёлов. Сейчас он работает на железной дороге, проводником. Пишите, я говорю сейчас чистую правду, я ведь был только пешкой в их руках...

Для Курбатова многое прояснилось. Он мысленно подчеркнул слова Скударевского о том, что деньги шли после войны. Немецкая разведка не могла уже платить своим оставшимся агентам ни гроша, и, стало быть, те средства, которые поступали, были иного происхождения. Действительно, группа нашла нового хозяина и стала работать на него.

Важно теперь выяснить, как шла эта работа.

— Кто связан с Ратенау на «Электрике?» — снова спросил Курбатов.

— Я не знаю. Я был ведь пешкой, — ныл Скударевский, — почтовым ящиком.

— А если припомнить? Например, взрыв на Кушминской ГЭС.

— Не знаю. Слышал, что кто-то есть, что задумана большая операция и после этого нас перебросят в Москву с повышенной оплатой.

— Значит, вы утверждаете, что готовится крупная операция на «Электрике»? — Курбатов, спрашивая, многозначительно поглядел на Брянцева, и тот ответил ему медленным, понимающим кивком головы. — Какая же?

— Не могу сказать. Я встретился недавно с хозяином... с Ратенау. Он предупредил меня, чтобы я был готов к отъезду. На «Электрике» скоро будет всё закончено. Он даже назвал

срок — через два месяца. А потом он взял у меня деньги, которые мне передал Васильев, и спросил: «Это на одного? Мне надо на двоих, передайте Васильеву, чтобы он не забывал про «Подпольщика».

— Вы знаете этого «Подпольщика»?

— Не видал.

— Как вы встречались с Васильевым?

— Он приходил в самое неожиданное время. Мы никогда не улавливались о встрече. Он боялся. Это чистая правда. Одна только правда...

Когда арестованного увели, за окном уже начинались робкие сумерки, но оба — Курбатов и Брянцев — были настолько возбуждены прошедшим допросом, что не заметили, как кончился день.

Скударевский рассказал многое, его показания заняли пятнадцать страниц, и, надо думать, это было еще далеко не всё; Курбатов собирался вызывать его еще не один раз.

Но странное дело! Когда Курбатов снова от первой строчки начал перечитывать протокол, приготовленный для доклада по начальству, он не мог уже сделать ни одного нового вывода: всё, что касалось покушения на Позднышева, он уже знал. Да, это Ратенау предупредил Скударевского, что надо убрать опасного человека. О том, где сейчас Ратенау, Курбатов еще не спрашивал.

Нового оказалось немного. Это фон Белов был в форме железнодорожника тогда, двенадцать лет назад (Курбатову стала ясна нехитрая их механика): он, Белов, пришел в подвал с перевязанной рукой, сказав, что

ранен и что он взрывал водокачку. Новиков мог не знать всех партизан отряда, тем более что в ту пору он больше был в районе, в подполье, а меньше — в отряде. Хитрей было задумано то, что, перейдя фронт, Белов стал работать на железной дороге, — это давало ему неоценимые преимущества. И всё же Курбатов не мог еще до конца понять, почему они долгое время бездействовали и откуда в архивах германской разведки появилось сообщение об их провале? «Ну, ничего, разберемся и в этом. Может, не так уж они и бездействовали, как это кажется».

Курбатов отпустил Брянцева: рабочий день у них закончился. На улицах разом зажглись фонари, и Курбатов опять потянулся к окошку, поглядеть на шумный людской поток, струившийся вниз.

Сколько бывало в этой комнате тех, думалось ему, кто хотел нарушить мирную жизнь наших людей? Но часто Курбатов, когда смотрел на их лица, вспоминал совсем, совсем другое: пепелище, одна труба торчит да покоробленный остов кровати; и на снегу сидит девочка, неподвижными глазами уставившись на то, что осталось от дома, матери, отца, братишек... Он увидел это мельком, и много видел потом почерневших печных труб и углей вокруг них, — эти следы человеческого горя только еще больше укрепляли в нем мысль: девочка больше не должна плакать. И когда пришел приказ о демобилизации, когда он снова мог поехать домой, взять в руки рейсфедер и сесть за чертежную доску, он подал рапорт: прошу оставить меня в кадрах.

Некоторые из них сидели здесь, перед ним, и прятали глаза, и каялись, и клялись... А у Курбатова память сама вызывала пожары да девочку со скорбным лицом и глазами, полными горя.

Курбатов всё еще стоял у окна, облокотясь о раму; так ему думалось легче и ровнее. Но сейчас он думал не о том деле, которое расследовал, мысль у него шла дальше, к тем людям, нет — нелюдям, с которыми сталкивала его профессия следователя. Злобные? полусумасшедшие в злобе, на что рассчитывали они? Жечь, убивать, уничтожать вот этот людской поток, что льется на улице внизу, — уничтожить самую жизнь? В такие минуты, думая так, Курбатов особенно остро ощущал себя как часть могучей жизни советских людей, проходящих перед ним. Как слугу этих людей. С особой силой чувствовал он всю тяжелую и большую ответственность, которую страна возложила на него, Курбатова, и на всех его товарищей.

Сегодня на допросе Скударевский сказал: я знаю, что мы и те, кто нас посылал, — люди конченные, я жил здесь двенадцать лет и видел, что вы — сильнее. Скударевский хотел спастись этим признанием. Да, все они, сколько их ни есть, — все знают, что мы — сильней. Утопающие хватаются за соломинку, и они — с Фридрихсгафена, с Уолл-стрита, из Сити — тоже хватались и хватаются за соломинку, им не хочется умирать; умирают они злобно, с трудом, с желанием нагадить напоследок... Что ж, не дадим нагадить!

Ну, а потом что, Валерий Андреевич? Надо

полагать, ты доживешь до того дня, когда на земле прогремит последний выстрел и о том, что такое порох, будут знать только охотники. Ты доживешь до того дня, когда простые люди уберут с земли последнего человека, присваивающего себе чужой труд, когда французские или американские дети, встретив в книжке слово «голод» или «безработица», полезут в словарь и с удивлением узнают, что такие вещи были раньше на свете. Ты доживешь, быть может, до того дня, когда исчезнет, выветрится из памяти дорога на Новгородщине, пепелище и девочка возле него; до того дня, когда яркое солнце, зажженное великими людьми — Лениным и Сталиным, осветит всю планету. Доживешь!

И тогда окажется, что твоя благородная профессия уже не нужна. Переселишься ты на дачу и займешься коллекционированием марок? Нет, вряд ли. В жизни всегда будет новое и старое, растущее и умирающее, надо будет еще долго пестовать новые ростки. Всю жизнь, до последнего дыхания, до тех пор, пока видят глаза и слышат уши, и руки могут создавать — ей, Родине, ему, коммунизму.

А пока — для меня мира нет. Пока надо попрежнему держать порох сухим. Пока те, кто в звериной ненависти своей хочет уничтожить нас, еще существуют, — я буду делать свое дело.

Он вышел из кабинета и поднялся к генералу. Доклад о еще одной прошедшей неделе был короток:

— Допрос подтвердил нашу мысль, что они работают — уже работают! — как говорится,

на одну из иностранных разведок. Взрыв на Кушминской ГЭС — их дело.

— Я же вам говорил, что поиски пятерки и эта авария могут быть сопряженными, — заметил генерал. — Но продолжайте.

— На «Электрике» готовится новая авария. Подробности выяснить не удалось.

Генерал заволновался, Курбатов редко видел его таким: обычно он всегда умел держать себя в руках.

— Завтра же надо посылать в Горскую, — приказал он. — Хиггинс будет у фон Белова — взять сразу обоих. Возможно, что Хиггинс и фон Белов будут сопротивляться. Старое всегда сопротивляется, — он еле заметно улыбнулся. — Я полагаю, всё идет пока ровно и закономерно. Но могут быть случайности...

Последние слова он проговорил уже в раздумье, словно пытаясь предугадать эти случайности и предупредить их...

Вернувшись от генерала, Курбатов позвонил Звягинцеву:

— Приказано ехать к Белову. Да, думаю, они будут вдвоем, он и Хиггинс... Нет, в вагон к Хиггинсу не садитесь, он может вас узнать. Проводите его только до поезда. Вы проводите, а встретят его на квартире... Да, конечно, в поезде Хиггинс никуда не денется. Пусть чувствует себя уверенным. Только я попрошу вас быть завтра весь день на вокзале. На всякий случай! Если Хиггинс вернется из Горской один, его всё равно надо арестовать. Словом — зайдите еще ко мне, договоримся подробней. Документы на арест уже оформлены, и прокурор дал согласие...

Он аккуратно собрал со стола все бумаги, запер их в сейф и, подумав, всё ли сделано, ушел домой.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

К полудню ветер с залива нагнал тучи; низкие, иссиня-черные по краям, своими очертаниями напоминавшие головы диких зверей, они медленно надвигались на город, и вода залива по началу стала ровной, даже мелкой ряби не было заметно на ней; потом где-то вдалеке от туч к воде протянулись дымчатые линии, там уже шел дождь. Было темно, и темнота эта была непривычна после ясных белых ночей. Тучи совсем закрыли небо, и дождь зарядил надолго.

Звягинцев зашел к Курбатову, когда тот уже вызывал машину. Курбатов кивнул ему:

— Погодите минуточку. — Потом он спросил с усмешкою: — Как себя чувствует ваш новый знакомый? — Речь шла о Хиггинсе.

— Повидимому, он сегодня поедет в Горскую, в гостинице его уже нет. Он остановился в «Интуристе», сдал на прописку паспорт и командировочное удостоверение. Я смотрел, — очень хорошая подделка.

— Да, это они умеют. Сегодня мы ему скажем этот комплимент... Так я повторяю свою просьбу: прошу вас быть сегодня всё время на вокзале. Вдруг он не встретит Белова и вернется назад, да и мало ли что... Словом, если его не возьмем мы, — возьмете вы.

— Слушаюсь.

Они вышли на улицу вместе. У подъезда уже стояла машина, и когда Курбатов появился на ступеньках подъезда, кто-то изнутри открыл дверцу. Курбатов протянул Звягинцеву на прощанье руку и, надвинув шляпу ниже на лоб, быстро спустился к машине. Там уже сидели Брянцев и трое бойцов.

Дождь всё лил и лил, сквозь окна, залитые водой, не видно было ничего, и только потому, что в машине стало темнее и исчезли впереди, перед ветровым стеклом, цепочки фонарей, можно было догадаться, что они выехали из города. Все молчали, и Курбатов отметил это с удовлетворением: люди понимают, что дело серьезное. Он обернулся и решил курить, но этим разрешением никто не воспользовался.

Сегодняшняя операция должна была решить многое. Самое главное, с арестом фон Белова нарушалось руководство группой, а изоляция Хиггинса не давала возможности остальным действовать. В медицине это, кажется, называется нарушением коррелятивных связей. Как найти оставшихся двух — двух неизвестных, — Курбатов еще не знал, но перекрестный допрос, очная ставка фон Белова с его неудачливыми коллегами — Хиггинсом и Скударевским — могли натолкнуть на след; Курбатов был убежден (и его опыт веско подтверждал это убеждение), что фон Белов, прижатый к стенке вескими уликами, долго сопротивляться не сможет.

Он приказал остановиться за три квартала от Деповской, чтобы шум машины не вспуг-

нул тех, за кем они пришли. Улица была пустынна, дождь перешел в ливень, и мутные потоки воды стекали в заросшие лопухами кюветы. Курбатов поднял воротник пальто и первый вышел на улицу, Брянцев выскочил вслед за ним.

— Налево, вторая улица... Дом в палисаднике.

Бойцы шли поодаль. У дома Курбатов остановился, махнул рукой, и бойцы быстро вбежали в палисадник; один скрылся в кустах, другой должен был встать позади дома, на углу, чтобы видеть окна двух сторон. Дом казался спящим, в окнах не было света.

Курбатов поднялся на ступеньки крыльца и потянул дверь; она была закрыта изнутри на защелку: слышно было, как там тоненько зазвенела цепочка. Тогда Курбатов постучал, прислушиваясь, но никто не отзывался на его стук. Он постучал сильнее, и когда за дверью послышались шаркающие шаги, он, не вынимая руки из кармана, где лежал пистолет, взвел курок...

Дверь им открыла старушка, повидимому хозяйка дома. «Вам кого? Васильева? Его сейчас нет, часа два назад ушел». Она была глуховата, эта старушка. «Что? Нет, никто к нему не приезжал». Курбатов вынул свое удостоверение, показал его хозяйке и вошел в дом.

Пусто было в комнате, где жил Васильев. Курбатов оставил одного бойца в сенях, двое других прошли в комнату и начали обыск. Курбатов успокаивал хозяйку, взволнованную от этого неожиданного посещения:

— Не волнуйтесь, право; что ж поделывать, если ваш жилец — нехороший человек.

— Вор? — всплеснула руками старушка. — Или, может, тяжелее грех на душу взял?.. Ах ты, господи прости, богородица святая заступница... — крестилась она в пустой угол.

Курбатов подумал, что фон Белов может вернуться домой, значит, его надо ждать. Подойдя к комоду — старомодному, пузатому, с расшитой петухами салфеточкой и семью мраморными слониками «на счастье», — Брянцев сразу нашел телеграмму: «Соскучилась. Приеду сегодня к ночи одна встречай твоя Паня». Курбатов посмотрел, когда телеграмма была отправлена и когда принята, усмехнулся — соскучилась заокеанская дамочка! — и сунул телеграмму в карман. Если они придут сюда, что ж, здесь «Панечке» и ее «возлюбленному» будет приготовлена теплая встреча.

Курбатов внимательно осматривал комнату. Старушка сидела тут же, наблюдая, как тихо открывают комод, осторожно прощупывают матрац и подушки.

— Скажите, — спросил ее Курбатов, — к нему приезжал кто-нибудь?

— Нет, никто к нему не ходит... Он ведь проводником работает, дома бывает редко.

— Может быть, были какие-нибудь женщины? Вот тут телеграмма от Пани; была она когда-нибудь здесь?

— Паня?.. Нет, не была, он этими делами не занимался, не замечала, человек он тихий был, прости ему господь его прегрешения, — она снова, вспомнив, что ее постоялец «вор»,

как определила она сама, перекрестилась на угол. — А вот жениться он женился, да, говорит, неудачно, жена то ли злая попалась, то ли что...

— Когда он женился?

— Что? Да я и не помню, давно, кажись...

— На ком?

— А и не знаю, товарищ дорогой; знаю только, что где-то в Солнечных Горках, а потом говорит: вот, мамаша, — развожусь.

Старушка говорила и говорила. Курбатов уже не слушал ее.

Первым начал поглядывать на часы Брянцев. Его волнение усиливалось, он не раз выходил в сени, где сидел боец, и прислушивался, что делается за дверьми. Нет, там только дождь шумел, шуршал, стекая по ступенькам, да приглушенно шелестели под ветром кусты. Прошел час, другой, третий, четвертый, но никто не приходил, хотя последний поезд прогудел и началась ночь, — темная, непроглядная.

Получив телеграмму, фон Белов испугался, хотя знал наверняка, что она от своего человека; но он положил за правило никого не принимать у себя, и когда прошел страх, он решил встретить гостя на станции, сесть в обратный поезд и в пути договориться обо всем. Кто должен приехать, Белов еще не знал, шифр телеграммы был старый, немецкий. Фон Белова смутило в телеграмме только одно слово «к ночи» — но это было, очевидно, совпадением, там давно должны были забыть

его истинное имя, или, во всяком случае не сообщать тому, кого посылали в Россию...

Шел дождь, и в помещении станции было много людей, ожидавших своего поезда. Временами хлопала дверь с табличкой «Посторонним не входить», — и дежурный по станции в скрипящем резиновом плаще торопился на перрон, неся в руках жезл. Поезд проходил, дежурный возвращался и, стоя в дверях, снимал свою фуражку с малиновым верхом и стряхивал капли дождя.

Белов задремал, пригревшись в уголке... «Зря я приказал этому идиоту Скударевскому дать свой адрес, — в случае провала он или приезжий могут проболтаться». Мысль эта была вялой, он клсвал носом и посапывал, засунув руки в рукава, и очнулся оттого, что кто-то потряс его за плечо.

В зале ожиданий было уже почти пусто, — очевидно, назад из города только что прошел поезд, он проспал его. Перед ним стоял, наклоняясь, какой-то мужчина и заглядывал в лицо.

— Что вам угодно?

— Принимай гостей, — тихо засмеялся вошедший.

Белов инстинктивно отодвинулся от него, страх захлестнул волной, и он, не выдержав, огляделся, словно ища, куда бежать. Нет, никто не следил за ними, женщина с двумя детьми, какие-то старушки, двое колхозников — они сидели, не глядя на них, и Белов пробормотал:

— Ты с ума сошел... Разве так можно?.. Сейчас пойдет поезд в город, поедем вместе.

Хиггинс кивнул, садясь рядом. Белов снова

засунул руки в рукава и закрыл глаза, делая вид, что попрежнему дремлет, а этот человек разбудил его случайно, обознавшись.

Но Хиггинс не обознался. Войдя в зал ожиданий, он сразу увидел одинокую фигуру и что-то знакомое в ней. Из-под козырька фуражки, низко нахлобученной на лоб, виднелся остренький нос и такой же остренький подбородок, заросший рыжеватой щетинкой; сомнений быть не могло, — Хиггинс шапнул к нему и разбудил.

В свою очередь, тот тоже сразу узнал Хиггинса, хотя и стоял он, заслоняя собой свет, и лицо у него было в тени...

Закрыв глаза, Белов лихорадочно соображал, как здесь мог очутиться Хиггинс. Ну, хорошо, год назад он, Белов, встретился с одним из работников американского посольства — на вокзалах в Москве всегда много народу, не трудно затесаться в толпу и сунуть в руку пачку денег с запиской. Тот сунул деньги и записку; там, помимо всего прочего, было слово «ждите». Чего ждать? Дальнейших распоряжений, чёрта, дьявола, но не Хиггинса. Там, в Вашингтоне, наверное, все посходили с ума, если посылают Хиггинса к нему: они знакомы, Хиггинс тряпка и трус, провал Хиггинса — и всё пропало. Когда они стояли в пустом тамбуре и Хиггинс тихо сказал: «Ты всё-таки здорово изменился, Дэви», — Найт выругался по-русски: «Забудь мое настоящее имя. И вообще всё забудь, к чёртовой матери. Ну, что у тебя?». Он смотрел на Хиггинса, как на подчиненного, и тот озлился: «Чего ради он говорит со мной, как

с мальчишкой? Пока он болтался по белому свету, очевидно, бездействуя, дрянь такая, я работал как вол». Хиггинс так и сказал ему, резко и всё-таки по-английски:

— Хватит сидеть без дела. Обстановка такова, что если не начать сейчас, значит, не начать никогда.

Хиггинс взял Найта за борт пальто и встряхнул:

— Вот за этим-то я и приехал. Пора действовать, слышишь?

Найт опустил глаза. Потом он болезненно поморщился и спросил:

— Что? Ты думаешь, мы сидели сложа ручки?

— Надо мешать им строить турбины. Это сделаешь ты. Ты был когда-нибудь в Высоцке?

— Нет.

Полчаса Хиггинс передавал Найту задания, называя пароли, договаривался о дальнейших встречах. Потом он спросил — любопытство взяло в нем верх над осторожностью:

— Как же ты не засыпался здесь?

Найт ответил не сразу. Он смотрел за дверное окно, и Хиггинс увидал, как всё лицо Найта перекосилось болезненной гримасой, потом у него задергалась щека:

— Будь всё это неладно, всё — и работа, и ваши деньги, и ваши планы. В течение двенадцати лет обо мне вспоминали от случая к случаю, я никому не был нужен...

— Роулен назвал это дальновидной политикой.

— Ну да, дальновидная политика... Когда эта жердь Кальтенбруннер сам отправлял меня

в Россию, он был уверен, что от меня будет много пользы. Но мне удалось обмануть его... Я не хуже других разбираюсь в том, что такое дальновидная политика.

...Как только Найт по прибытии в Россию осмотрелся вокруг, он понял, что ему несдобровать, если хоть раз высунуть когти. И он решил послать Кальтенбруннера к чёртовой матери. Это и была его дальновидная политика.

Он понял, что в будущем надо идти за своими, работать на своих. Это, по крайней мере, отсрочит если не провал, то необходимость действовать сразу, рисковать. Потом видно будет, а пока — ждать.

Ту поджарую гончую, неуча Шредера, немецкого агента R-354, Найт провел очень просто. Шредер был послан, чтобы подхлестнуть Найта, заставить работать на Германию, но так никого и не увидел. Найт устроил всё таким образом, что немец убедился в его провале. Явка была разгромлена ребятами Найта, и Шредеру ничего не оставалось делать, как поскорей унести ноги и сообщить своему шефу, что фон Белов приказал долго жить...

Больше к Найту никто не приходил. Он не дал своим четверем ни гроша, да и не мог дать, и велел устраиваться на работу. Ясно, что они вынуждены были работать, чтобы жить.

— Ни один, даже самый распрекрасный агент, не шевельнет пальцем, пока ему не заплатят. Вот почему мы здесь уцелели... Я сам был без гроша, кстати — по вашей вине, и меня могли взять в армию, — Найт не замечал,

как всё, что ему думалось и вспоминалось, он говорил сейчас вслух.

— Спасла фуражка да кое-какие бумаги. Железнодорожники у них были на военном положении. Я сам стал чумазым, как негр, и мотался в поездах на фронт и обратно. Жил только ожиданием, что вы, наконец, одумаетесь и кончите эту скверную игру в союзники. Ждал всю войну, ждал после, чёрт знает сколько. Почему я не засыпался? Да потому, что я ни минуты не думал, что я умнее, хитрее русских! Я не был таким дураком, как ты, Хиггинс, не приставал на вокзале к своим ребятам, не разговаривал в поездах по-английски.

— Говори прямо, ты сделал что-нибудь?

— Сделал?.. Да, кое-что сделано. Отчет получишь после. Вместе с чертежами. Но теперь я уже не верю словам джентльменов: за отчет и чертежи — деньги, за новые задания — то же. В конце концов, у меня есть даже семья...

— Ты женат?

— Женат! — у Найта щека дергалась так, будто по ней проходил электрический ток. — За двенадцать лет я мог не только жениться, а и обзавестись кучей детей, построить дом, получить значок отличного железнодорожника...

Хиггинса раздражал этот монолог. Он не верил, что Найт в эти годы довольствовался зарплатой железнодорожника, редкими суммами из посольства. Этот тип, с которым неприятно оставаться наедине, может легко стать бандитом. Грабить где-нибудь на дороге

людей куда безопасней, чем собирать секретные сведения. Грабителя хоть не поставят к стенке.

Однако Хиггинс терпеливо ждал, чем кончится этот разговор, и в душе злорадствовал: «Плевать, уцелеешь ты или нет, а работать теперь ты станешь не так, как прежде — от одного выгодного случая к другому, а иначе... Деньги тебе будут; остальное тебя не касается. Прожив двенадцать лет в России, ты сам себе вырыл могилу. Роулен не потерпит, чтобы около него появился кто-нибудь, лучше знающий Россию, чем он сам. Этак Найт легко спихнет полковника и сам займет кресло начальника русской группы. Нет, молодчик, видно ты отсюда уж не вылезешь, ты смертник». Найт словно уловил усмешку Хиггинса и замолк, дрожащими руками вынимая пачку папирос:

— «Беломор». Русский! Не угодно ли?

Когда какой-то мужчина переходил из одного вагона в другой, он увидел в тамбуре двух молчаливых курильщиков. Ничего удивительного, — вагон был для некурящих...

На последней перед городом остановке Найт предложил сойти с поезда и ехать в город трамваем. Так безопасней. Хиггинс рассмеялся:

— Ты всё-таки заболел здесь трусостью, хотя это отнюдь не русская черта... Если я прошел через границу и живу здесь, я ничего не боюсь.

— А я всё-таки... Встретимся через неделю,

в девять часов на углу Красных Зорь и Морской.

Он слез с подножки и исчез в темноте, а Хиггинс, зябко поёживаясь, смотрел на косые струи дождя и на лужи, в которых тускло отсвечивали фонари. «Нет, я предпочитаю такси и мягкую постель в номере «Интуриста». Надо будет заказать в номер ужин и обязательно с водкой — чудное средство против простуды...»

Он слез в городе и пошел по перрону, обгоняя женщин с корзинками и чемоданами. На секунду он заметил лицо, показавшееся ему знакомым, уже виденным однажды; он замедлил шаг и огляделся. Этот знакомый подошел к нему справа и взял за локоть:

— Вот мы и снова с вами встретились!

Хиггинс обрадовался:

— А, это вы! Мы, кажется, выпивали в ресторане...

— Вы арестованы, — шевельнул бровями знакомый.

— Что? — Хиггинс почувствовал, что от колен поднимается мелкая противная дрожь и ему никак не унять ее. — Слушайте...

— Машина ждет на улице, мистер Хиггинс, — сказал Звягинцев.

Курбатов так и не дождался ни Белова, ни Хиггинса. В доме он оставил двух бойцов, а сам с Брянцевым и с третьим бойцом помчался в город. Из проходной он позвонил Звягинцеву. Тот оказался у себя. «Полковник Ярош собирается допрашивать Хиггинса, то-

варищ майор. Белов? Нет, нет, его не было с Хиггинсом». Курбатов обернулся к Брянцеву: «Немедленно поезжайте назад, в Горскую, и ждите его там, очевидно они встретились в поезде». Брянцев уехал, Курбатов пошел к Ярошу...

Брянцев остановил машину на прежнем месте и прошел к дому пешком.

По Дёповской шло несколько человек, очевидно только что слезших с поезда. Брянцев дал им обогнать себя и обернулся: нет, сзади никого. Он вошел в калитку. И не знал, что сзади всё-таки был человек, жался к забору, выглядывал из-за дерева и видел, куда пошел Брянцев. Тогда человек побежал прочь, через совхозные огороды, кружным путем, и уже светало, когда он вышел на шоссе и просигналил попутной машине. Его взяли. Он сидел один в кузове и вздрагивал, а потом тихо-тихо засмеялся, прикрывая ладонью рот, будто бы кто-то мог услышать его смех. Он радовался, что ушел, а потом его снова начало трясти. «Хорошо, что документы и деньги со мной, надо начинать новую жизнь. Если у меня будет обыск, они найдут только паутину под полом да слоников на комодё... Мраморных слоников, «приносящих счастье»!»

2

Курбатов ожидал увидеть Хиггинса таким же вялым, подавленным неудачей, каким был Скударевский. Однако Хиггинс вошел

в кабинет полковника Яроша и сел, всем своим видом стараясь показать, что ему абсолютно всё равно, где сидеть — в ресторане за столиком или в кабинете следователя. Курбатов, стоявший позади Яроша, отметил ту развязность, с какой Хиггинс закинул ногу на ногу и взял без разрешения папиросу из полированного ящичка на столе Яроша. «Рисуется, — подумалось ему, — набивает себе цену. Нелегко же дается ему эта рисовка. Это от отчаяния, вялость наступит после».

— Начнем игру? — спросил Хиггинс.

— Вас привели сюда не играть.

— Значит — на чистоту? — он нервно усмехнулся. — Не всё ли равно, как пойти в расход — после исповеди или не исповедуясь.

Курбатов снова подумал: хитер, да весь как на ладошке.

Ярош ответил Хиггинсу, словно подхватив мысль майора:

— А на что вы рассчитывали, когда шли? Не на то, надеюсь, что мы дадим вам домик за городом и грядку с тюльпанами?

— Я американский подданный. Вы не имеете права, в конце концов, применять ко мне ваши законы. Я случайно очутился у вас.

— Вы всё-таки начинаете игру, Хиггинс? Ну, хорошо, предположим, вы случайно попали в страну, пограничную с нами, ведь вы приехали туда в качестве миссионера? А как вы оказались в Советском Союзе? Объясните.

— Я заблудился. На лодке поехал ловить рыбу. Это было еще до рассвета. В тумане потерял направление, пристал к берегу и... попал к вам.

— Что ж, почти правдоподобно. Только вот вашей лодки мы не нашли. Видимо, ее кто-то увел обратно. На это что скажете?

— Вот уж не знаю! Течением, вероятно, унесло.

— Нет, это не пойдет. Течение на озере слабое, и — вдоль советского берега... Не сходится, Хиггинс! Тем более, что вы прошли по ручью... Кстати, вот ваша карта, лупа, компас. Это же ваши вещи? Как же вы могли заблудиться?

Хиггинс недовольно и недоверчиво повертел в руках свой компас:

— Да, да, это действительно мои вещи. Но я не умею пользоваться ни компасом, ни картой. Когда сошел на берег, то попросту выкинул их.

— Пусть будет так, хотя и наивно. А почему вы не пошли прямо в сельсовет, или на заставу, или в любой населенный пункт и не заявили, кто вы и откуда?

Хиггинс молчал, разглядывая свои аккуратные ногти, потом он глуповато и в то же время стыдливо сказал:

— Мне захотелось посмотреть, как живут русские. Я думал воспользоваться подвернувшимся случаем...

— Это что же, опять случайность? И также вы случайно зашли на телеграф и дали телеграмму случайному знакомому?

— Я никому никакой телеграммы не посылал.

— Хиггинс, ну к чему так смешно врать? Или вы хотите сейчас узнать свой почерк на

бланке? Правда, телеграмма подписана женским именем, но почерк-то ваш!

— Ладно, я согласен кончать игру. Видно, вы следили за мной от самой границы. Но я деловой человек и знаю, что мои сведения вам нужны.

Курбатов усмехнулся.

Ярош взял чистую бумагу. Первый вопрос, заданный Хиггинсу, касался его прошлого, и он рассказал о нем бегло. Трудно было по этому ответу судить о Хиггинсе как о старом и опытном разведчике.

— Вы скромничаете. Почему бы вам не рассказать о своих похождениях в Праге и Эльблонге?

Хиггинс почувствовал, что они знают о нем много, слишком много, и действительно, чего доброго, дело кончится плохо. Он побледнел; эта внезапная бледность не скрылась ни от Яроша, ни от Курбатова.

— Расскажите, почему вы пришли в ресторан «Северный»?

— Полковник Роулен сказал, что я должен встретиться с официантом. Никодимом Сергеевым. О том, что эта встреча состоится, полковник узнал недавно. Сигнал был дан из Солнечных Горок объявлением в районной газете.

— Зачем вы приехали?

— Установить связь с группой.

— И только?

— Да.

— Мы не так наивны, Хиггинс, ради одной связи вас не стали бы посылать.

— Нет, я ничего не должен был делать

сам. Я отказался от всяких дел, с делами легче проваливаются.

— Ну, такие «бездельники», как вы, у нас тоже не особенно-то долго гуляют. У вас были задания группе?

— Нет, не было.

— Хорошо. Что вы знаете о группе, с которой вы должны были связаться?

— Ничего. Ровно ничего. У меня был адрес ресторана.

— Но вы там никого не нашли. Что вы делали дальше?

Хиггинс послушно рассказал, как он пришел в обувной магазин и получил там адрес. Хиггинс юлил. Он говорил то, что, по его мнению, было уже раскрыто. В остальном он решил запереться, отнекиваться. «В конце концов, — думал он, — должен же я прибегнуть что-нибудь на крайний случай, глупо было бы выложить им всё сразу». Курбатов дослушал ответ и, выйдя из-за стола, остановился перед Хиггинсом.

— И вы решили поехать к ночи... — начал было Курбатов, но, заметив мгновенный испуг в зрачках Хиггинса, оборвал себя и проверил, что же он сказал такое особенное, отчего Хиггинс мог испугаться, но так и не нашел, и решил, что лучше всего будет поддерживать этот испуг. — Говорите правду, Хиггинс!

Уж не было больше развязного Хиггинса. Весь опустившийся, он напоминал сейчас Курбатову виденных им еще в детстве кукол в заезжем театре: только что кукла играла, хлопала в ладоши, пела, плясала, и вот после представления она лежит, прислонившись

к ящику, недвижимая и немая. Хиггинс с трудом разжал рот и попросил воды. Звягинцев подал ему стакан, и тот выпил его залпом; крупные капли, стекая по подбородку, падали на лацкан пиджака, за ворот, он не замечал этого.

— Но я... Я всё-таки не знаю группы. Я знаю одного только О'Найта, мы с ним учились вместе... Я ехал к нему.

Только тут Курбатов догадался, в чем дело, почему сказанная им вскользь фраза так испугала Хиггинса, и все прежние раздумья словно бы озарились сразу; сразу всё встало на свое место.

«Вы решили поехать к ночи?» — спросил Курбатов; ну да, ночь по-английски «Найт». Что ж, это случайность, но она закономерна, в конце концов, если разобраться... Нет больше Васильева, нет больше фон Белова, прибалтийского немца, есть О'Найт, американец, двойной шпион; так и запишем.

Так вот почему они затаились на время войны и начали «раскачиваться» только несколько лет спустя! Американец не стал работать на немцев, он ничего не объяснил ни Скударевскому, ни остальным, надо думать. Он попросту приказал им осесть до лучших времен. Эти времена пришли, но не было связи, резидентуры, постоянного руководства из одного центра, быть может — денег.

Ярош прервал допрос и приказал отвести Хиггинса. Когда за Хиггинсом захлопнулась массивная дверь, полковник повернулся к Курбатову:

— Вы уже, должно быть, тоже поняли,

в чем дело. Начнем с того, что мы нашли не группу немецких разведчиков, а группу немецких, ныне американских разведчиков, которую возглавлял и возглавляет американский шпион. Начнем с того, что он, руководитель группы, уже обнаружен...

Он ходил по кабинету, заложив руки за спину, и думал. Когда раздался телефонный звонок, Курбатов досадливо поморщился:

— Ну, что там?

Трубку взял Ярош:

— Что?.. Майора Курбатова?.. Да, здесь, сейчас даю. — И, протягивая трубку, пояснил: — Вас из милиции.

Голос был незнакомый:

— Товарищ майор? Здравствуйте, с вами говорит Карташев, из угрозыска. Вы интересовались неким Войшвиловым...

— Да, да, интересовался...

— Так вот, мы обнаружили тело Войшвилова. Он утонул в Щучьем озере, возле МошкарOVO...

— Утонул? — Курбатов положил локти на стол. — Кто вел следствие?

— Молодой, но опытный в общем работник, затем майор Палиандров, медицинский эксперт.

— Когда его обнаружили?

— Вчера вечером. Поблизости, в камышах, найдена рубашка с номером воинской части. Майор Палиандров говорит, что это может быть и убийство. В его практике был случай, когда человеку накинули на голову рубашку и — под воду.

— Спасибо большое, что позвонили... —

Курбатов бросил трубку на рычаг и резко разогнулся. Под скулами у него ходили крепкие круглые желваки, словно бы он жевал что-то вязкое, липкое, неприятное.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

О том, что Ратенау исчез и вот уже несколько дней его не видели на заводе, что дома его тоже нет, — обо всем этом Козюкин узнал позже и совершенно случайно. Его вызвал к себе директор — его и нескольких конструкторов. В кабинете по обыкновению былолюдно, директор, одной рукой что-то подписывая, другой прижимая трубку к уху, сумел только кивнуть Козюкину и глазами указать на свободный стул. Это означало: будет беседа.

Однако, когда он бросил трубку обратно на рычаг, какой-то незнакомый Козюкину мужчина положил перед директором папку и раскрыл ее: там лежали бумаги на подпись, накладные, ведомости — сложный и стройный бухгалтерский мир, требующий к себе немедленного внимания.

Когда незнакомец с папкой ушел, Козюкин равнодушно, без всякой задней мысли, спросил:

— Это — кто? Ну вот, который вас только что мучил цифрами, — пояснил он, заметив, что директор его не понимает.

— А-а, этот! Новый бухгалтер.

— А прежний? Такой старичок с усиками, как его... Войшвиллов?

— Войшвиллов? — директор секунду помедлил, словно гадал — сказать или не говорить, и, постукивая карандашом по толстому стеклу на столе, тихо сказал: — С ним какая-то темная история. Я звонил в угрозыск, там ответили уклончиво; дескать, не волнуйтесь и ищите себе нового бухгалтера... Потом всё-таки сказали: утонул. Да, так вот ваш проект в Москве утвержден... — перешел он к делу, вынимая из ящика конверт. — Распоряжение начинать серийный выпуск пришло. Ну-с, довольны?

Козюкину показалось, что вот сейчас директор скажет: нам известно также, что вы были с Войшвилловым хорошо знакомы. Но директор уже перешел к проекту, и Козюкину с трудом удалось взять себя в руки. В следующую минуту он сказал себе, — Ратенау нет, стало быть, нет человека, который знал о нем, пожалуй, излишне много. Он не арестован, а умер, стало быть ему, Козюкину, опасаться нечего, — мертвые не говорят.

В этот день он был особенно оживлен. Это нетрудно было приписать удаче проекта. Козюкина видели и в конструкторском бюро, и в чертежной, и у главного технолога, и снова в кабинете директора, видели его широкий жест, слышали переливающийся мягкий баритон, то хвалящий, то ласково выговаривающий за что-то, а то и сердитый, если встречались неполадки. Он обедал в столовой и ел за двоих («все эти дни аппетита совсем не было»), взял в клубе два билета в балет на гастроль ленинградского театра и пригласил одну из чертежниц («Я, конечно, человек пожилой и

скучный, но на сцене — Алла Шелест»). В театр он, однако, так и не пошел, — вдруг нашлась масса дел, и все, как назло, неотложные. Вернувшись домой в первом часу, Козюкин устало опустился в кресло и закрыл ладонью глаза. Отступить от задуманного было не поздно. Можно было, пользуясь тем, что Ратенау нет, взяться за любую работу, никто не узнает, что он нарочно упустил эту возможность — неверно рассчитать новый генератор. На заводе, да и повсюду, создание мощного генератора будет записано ему в актив. Смешно думать, что он должен всё время портить, — так долго не продержишься, надо сделать что-нибудь полезное.

Он оборвал ход этих мыслей: достаточно было вспомнить, как совсем недавно было сказано «это не ваш проект, это труд коллектива», — чтобы он резко подался вперед и неожиданно для самого себя грубо выругался вслух. Пришлось встать и идти в другую комнату — глотать бром с валерьянкой, успокоить вконец расхोдевшиеся нервы. Всё было уже решено раз и навсегда, отступать нельзя.

«Новые генераторы, — думал Козюкин, — пойдут в производство через неделю, от силы две. Через два месяца они будут готовы; что же касается результатов, они скажутся позже. Нет, тут дело не обойдется, как на Кушминской ГЭС; здесь на грузовиках будут вывозить ручки да ножки, а потом собирать, что кому принадлежит».

Он усмехнулся, подумав: «Возить вам — не перевозить», — и достал чистый лист бумаги, логарифмическую линейку и карандаш.

...Он заработался до рассвета. Всё, что требовала его душа, вся злость, вся ненависть, то, что из года в год ловко удавалось скрывать от тысяч глаз, — всё было вложено в новый расчёт. Уже не лист бумаги, — десятки листов, исписанных его крупным, размашистым почерком, лежали на столе. За окном дворники подметали набережную, прошла поливочная машина, расставив в стороны водяные усы. Проснулись и слетели к воде чайки, их пронзительный, скорбный крик утонул в утренней переключке заводов, а по реке, словно спавшей в этот ранний еще час, прошел закопченный трудяга — буксирчик, тянувший с верховьев реки большегрузный плот.

Козюкин не видел, как начинается это утро: за цифрами, внешне безжизненными и немymi, перед ним раскрывались иные картины. «Только бы янки не упустили момент, — думал он, — иначе вся работа тоже летит».

Когда в прихожей раздались звонки — два коротких, длинный и снова один короткий, он лениво встал, потянулся, ничуть не удивленный тем, что к нему пришли, и, запахнув теплый халат, пошел открывать дверь.

На площадке стоял долговязый офицер с неестественно тонкой талией. Прежде они виделись раза четыре — у Ратенау и на коротком инструктаже в поезде, кажется, года три назад. Его фамилии Козюкин не знал, в беседе с Ратенау все остальные звали его лейтенантом. Козюкин пропустил его в прихожую и старательно закрыл дверь на все запоры; подумал, и накинул еще цепочку.

— Однако, вы смело открываете, даже не спрашиваете — кто, — заметил «лейтенант». — Так и неожиданных гостей впустить можно.

— Вы думаете, я вас ждал? — показывая на диван, ответил Козюкин. Гость сделал вид, что не слышал вопроса.

— Не спите? Так сказать, трудитесь на благо любимой отчизны? — с иронией глядя на письменный стол, сказал «лейтенант», хотя на погонах у него было уже три звездочки старшего техника-лейтенанта. Он неторопливо полез в карман галифе за папиросами, вытягивая ногу, так же неторопливо начал закуривать, и когда Козюкин протянул ему коробку папирос: «Хотите — «Казбек», — отмахнулся:

— Нет, спасибо, я больше «Звездочку» люблю, мы ведь люди скромные, о нас в газетах не пишут.

Козюкин вспыхнул: «Что́ они, сговорились все издеваться надо мной, что ли?».

— Во-первых, нет ли у вас чего-нибудь выпить. Устал, три часа езды...

— Это вы могли получить в любой «забегаловке», на вокзале хотя бы, — озлился Козюкин.

Офицер с усмешкой поглядел на него:

— Вот вы какой, уважаемый кандидат наук... А всё же дайте чего-нибудь.

Козюкин принес ему из другой комнаты стопку и початую бутылку коньяку. Когда гость выпил одну за другой несколько рюмок, то стал куда покладистей и признался:

— Я, откровенно-то говоря, думал, что вы — трусишка... Слушайте, когда вы встречаетесь с хозяином? Ну, с Васильевым?

— Понятия не имею. Обычно я встречался с Ратенау, это было удобней и безопасней.

— Вам больше не придется с ним встречаться, — офицер поднял палец и покрутил им. — Как говорится, мир праху его.

— Я знаю, что он умер.

— Знаете? — насторожился офицер. — Что вы знаете? Откуда?

Козюкин рассказал, и офицер успокоился. «Ни черта никто не знает, — подумал он про себя. — Однако то, что милиция всё же нашла тело и, быть может, какие-нибудь молотокосы всё-таки ломают голову над загадочной этой историей — надо учесть».

— Вам придется встретиться с хозяином, — сказал он Козюкину, — мне некогда, я вырываюсь из части по служебным делам, впору только ими и заниматься. Я привез вам чертежи нового оружия, вот они. Это надо срочно передать. Но сами никуда не ездите, вам позвонят. Спрячьте-ка их получше.

Козюкин оглядел комнату, соображая, где бы их можно было спрятать. «Лейтенант» понял и засмеялся:

— Сразу видно, что вам не приходилось заниматься этим делом. В книгу, в книгу, вклейте между страниц, и вся недолга.

Когда он уходил, допив остатки коньяка, Козюкин подозрительно спросил:

— А, собственно говоря, откуда вам известно о смерти Ратенау?

«Лейтенант» снова засмеялся, обнажая большие, неровные, желтые («как у лошади», — подумалось Козюкину) зубы. Потрепав Козюкина по плечу, он ответил:

— Сон такой приснился.

Когда он вышел, Козюкин больше не сомневался: Ратенау был убит вот этим самым человеком, который только что сидел на его диване, пил его коньяк и жал его руку. Козюкина передернуло: противно всё-таки — убийца, уголовник, сукин сын...

Он пошел мыться. Потом собрал исписанные листки, еще раз бегло просмотрев их: «В Москву переделки не пошлют, а на местных, заводских специалистов достаточно моего авторитета».

2

Прошло несколько дней, а Козюкину никто не звонил и никто не приходил к нему. Сведения, переданные «лейтенантом», были спрятаны, и Козюкин начал было волноваться — не случилось ли с «хозяином» чего-нибудь.

Однако все опасения оказались напрасными. Он знал привычку «хозяина» неожиданно подходить к своим на улице и поэтому не удивился, когда обогнавший его мужчина тихо и внятно сказал:

— Идите за мной. Но не особенно близко.

Они шли долго — Найт впереди, Козюкин сзади, шагах в тридцати от него, и когда Найт вошел в какой-то дом, Козюкин, сделав вид, что разыскивает нужную ему фамилию в списке жильцов, задержался еще минуты на три, а затем вошел в ту же парадную.

Когда он поднимался по лестнице, одна из дверей на площадке четвертого этажа скрипнула, приоткрылась, и Козюкин понял: сюда.

Здесь было уже трое: сам «хозяин» (его редко называли «Васильев»), «лейтенант» и съемщик квартиры, который, пожимая Козюкину руку, представился:

— Виктор Осипович.

Козюкин был раздосадован: «Я не знаю о них ничего, а они знают обо мне всё; но неизвестно, кто из нас полезней».

«Хозяин» торопился. Видимо, он был чем-то встревожен; вид у него неприглядный — небрит, на ботинках грязь, куртка выпачкана мелом. Не успел Виктор Осипович представиться, как «хозяин» замахал руками:

— Давайте, давайте, нечего кисели разводить.

Он коротко сообщил, что положение ухудшилось: Ратенау нет, Скударевский и Хиггинс, надо полагать, арестованы. А если так, то значит, следствие может докопаться и до остальных. Поэтому надо менять тактику.

— Где данные о новом оружии? — спросил он «лейтенанта».

Тот показал на Козюкина, но Козюкин оборвал его:

— Я не ношу с собой такие документы, они у меня дома.

«Хозяин» кивнул:

— Отдадите мне позже.

Козюкин разглядывал его со смешанным чувством уважения и любопытства. «Хозяин» был представителем того мира, к которому Козюкин рвался не день, не год и не десять лет. Однажды, когда «хозяин» в одну из редких встреч вскользь спросил его: «Чего вы хотите?» — Козюкин усмехнулся и ответил: «Моя

жизненная философия нехитра: она ничем не отличается от философии Моргана или Дюпона». — «Что ж, — пожал плечами Найт. — Мы рассчитываем на удачу и верим в нее, а в случае удачи у вас будет не один пакет акций. Когда-то и мы...» Он не договорил, видимо полагая, что Козюкину не к чему знать подробности его, Найта, биографии.

Сын мелкого фабриканта, разорившегося вконец во время кризиса после первой мировой войны, Найт вынужден был «замарать руки». Рекомендательные письма людей, имевших когда-то с его отцом деловые связи, привели его, наконец, в шумную и внешне бестолковую контору фирмы «Стандард Ойл». В эту пору фирма всё теснее и теснее налаживала связи с «И. Г. Фарбениндустри», и в конторе всегда толкалось множество немцев. Юному Найту предложили проследить за одним из «деловых друзей», он с охотой взялся за это и — кто его знает, как — ухитрился сфотографировать того, за кем он следил, в объятиях любовницы. Лишь одна газетенка опубликовала снимок, но именно с этого фото, которое украсило бы витрину ларька порнографических открыток, началась карьера Найта. Его взяли в школу разведчиков, в немецкую группу.

Он кончил ее успешно. Всё, чему там учили — язык, радиотехника, шифры, искусство краж и техника диверсий, — он сдал блестяще, не задумываясь о своей дальнейшей судьбе. Ему платили деньги, а это главное.

В Германии его не поймали. Наоборот, фон Белов, прибалтийский немец, был встре-

чен в Берлине как будущая звезда немецкого шпионажа. Год он пыхтел над русскими книгами, год с утра до вечера зубрил русские слова, склонения, спряжения, и когда его познакомили с экс-генералом Скударевским, старик прокартавил по-французски: «Боже, петербуржец! Давно вы... оттуда?». Теперь можно было начинать выполнение второго, главного задания американской разведки: пробраться в СССР и затаиться там, пока не будет дан сигнал действовать. Сам шеф, Кальтенбруннер, потряс ему на прощание руку и пролаял какие-то напутственные слова. Но, оказавшись в России, фон Белов еще раз обозвал немцев и Кальтенбруннера тупыми свиньями и приказал «своим» ждать сигнала.

Всего этого, конечно, Козюкин не знал и знать не мог. Не знал он и другого — того, что произошло за эти несколько дней и вызвало это спешное совещание.

Он не знал, например, что Найт тоже обнаружен. Найт увидел, как в его домик в Горской прошли солдаты и офицер-разведчик. Страх, злоба, жгучее желание спасти себя поднялись в нем. Но оставалось желание заработать побольше и, вернувшись, обнаружить на своем счету кругленькую сумму. Помимо этого, было еще одно стремление, не менее сильное: стрелять! Стрелять бы во всех этих людей, спокойных, уверенных в своей силе, крушить всё, что создано ими! Он говорил себе: «То, чего не смог сделать Гитлер, сделаем мы». Но тут же в его душонку закрадывалось сомнение, оно лишало его сна, покоя: «Сделаем ли?». И снова его обнимал страх

перед той силой, которую он видел каждый день, и больше становилась ненависть к этой силе.

В ту ночь, когда он убежал из Горской и разбитый, замерзший приехал на попутной машине в город, он решил менять тактику. Глупо сидеть снова год, два, три, как прежде. Найдут! Он прошел по проспекту Красных Зорь, поджидая Хиггинса, но тот не появился. Из автомата он позвонил в ресторан и спросил Кушелева; там замялись, тогда он решил позвонить на «Электрик» — Ратенау. Кто-то из работников бухгалтерии подошел к телефону и тоже мялся, потом пробормотал что-то невразумительное, и тогда Найт понял, что приезжали не к нему одному...

Оставалось узнать истинные размеры провала, выяснить, — на месте ли двое других. О том, как начали его искать, кто провалился, кто оставил след, — Найт даже не пытался думать.

Он пошел пешком на главный почтамт, купил конверт, бумагу и долго обдумывал первые строчки, а потом круглым, бисерным почерком написал, что «брат с Федей уехали» и что гости ничего, кроме хлопот, не принесли. «Гостем» Найт называл Хиггинса. «Хлопоты» значило: за мной следят. Но тут же он приписал: «Гости, наконец, уехали тоже, а с ними и все заботы, и я могу вздохнуть свободней». Он и на самом деле вздохнул, но вздох этот был грустный. «Приезжай, возьми отпуск, — продолжал он. — Я уже стар, Витюша мне последняя поддержка». Подписавшись, он подумал о том, что рано от-

правлять это письмо, не зная пока ничего о «Витюше», и снова пошел звонить по телефону.

Когда в трубке раздался знакомый голос, Найт, не отзываясь послушал, как там несколько раз повторяют, то громко и спокойно, то раздражаясь: «Слушаю», — потом положил трубку и подумал: так и знал, значит, провалилось одно звено, быть может, вместе с Хиггинсом. Плохо! Но ни разу у него не появилось ни беспокойства за членов его группы, ни, тем более, жалости. Провалились так провалились, сами виноваты! «Плохо только, если они потянут за собой и меня, — думал он. — А вообще плевать на них, все они — порядочное дерьмо».

Он поехал к «пятому». Пятого не знал никто из группы, кроме самого Найта и «лейтенанта». К пятому Найт относился почтительнее, чем к другим. Те — мечтают бог весть о чем, о сногшибательных сведениях и таинственных убийствах, этот же — человек действия, и кажется, что умение взорвать мост или пустить под откос поезд — впитано им с молоком матери. Теперь он был необходим Найту: он единственный мог сделать то, что намечено, и этим оправдать деньги, которые прежде всего шли к самому Найту.

Ратенау провалился, это ясно как дважды два, думал Найт, подходя накануне совещания к дому «пятого». На «Электрике» остался Козюкин, в Высоцке никого нет. Значит, «пятый» должен поступать туда, на комбинат в Высоцке, именно туда, потому что на «Электрике» после провала Ратенау попросту не

дадут ничего сделать. И, значит, только Высоцк, комбинат, турбины... Эти турбины! Каждое сообщение о том, что там создана еще одна турбина, вызывало у Найта чувство, в котором он не всегда признавался себе. Это был страх. Страх перед силой, перед тем, что несли с собой эти турбины. Человек неглупый, Найт понимал: каждая турбина для новой ГЭС — это орошаемые земли, хлеб — тонны и тонны хлеба, изобилие, которое не снилось нигде и никому. Русские не боятся американских атомных бомб, а ему, американцу Найту, страшны были эти новые турбины, приносящие изобилие.

И отчаяние уже овладевало им. Еще не зная, что и как можно сделать, он верил в случай, в тот самый случай, который столько раз помогал ему и спасал и которому он поклонялся, как фетишу.

Виктор Осипович встретил Найта по-своему обрадованно, и Найту подумалось: собачья радость! Но когда Найт, закрыв за собой дверь, заговорил, тот вздрогнул и заметно побледнел, — он, видимо, уже настолько привык к бездействию, что сейчас, когда наступила пора действовать, почувствовал себя как человек, которого из теплой постели в теплом доме вытаскивают на мороз. Найт спросил:

— Вы что — трусили?

— Нет, нет, в конце концов на это и шли.

Он стоял у стены, заложив руки за спину, вид у него был усталый и безучастный, он не понравился Найту. Что произошло? — пытался понять он. Просто страх, неверие или...

«Нет, он в моих руках, у него на совести много всяческих пакостей, значит, он не выдаст так запросто».

Найт был недалеко от истины. Много раз «пятому» — Виктору Осиповичу — хотелось махнуть на всё рукой и смыться куда-нибудь в Иркутск или в Читу, где никто не мог прийти к нему и сказать: «Пора». Найт одним своим видом властно возвращал его к действительности, и тогда Виктор Осипович становился тем, кем он был на самом деле — всего лишь крошечным служкой, которому прежние хозяева не успели заплатить, но зато платят другие. Он как-то раз спросил Найта: «Я попаду в Америку? Вы возьмете меня?» — и тот ответил уверенно: «Конечно. Год вы сможете жить спокойно. Потом придется снова работать».

Придя вчера к «пятому», Найт колебался, стоит ли рассказать ему всю правду, то есть то, что слежка началась, что Ратенау, Скударевского и Хиггинса нет; колебания кончились, как только он увидел своего подчиненного бледным и перепуганным.

— Я останусь у вас дня два. Потом мы поедем в Высоцк, — резко сказал Найт. — Придется вам расстаться с вашим возлюбленным Гормашснабсбытом... на время. Завтра созову к вам гостей.

И тот снова вздрогнул, покорно, в знак согласия, опуская голову.

И вот «гости» созваны.

...Это были те кулисы, за которые Козюкину заглядывать запрещалось. Он глядел во все глаза на Найта, а когда тот, поговорив

с «лейтенантом», подозвал к себе его, Козюкина, он вздрогнул от неожиданности и вскочил со стула.

— Вам придется, повидимому, временно свернуть работу, — сказал Найт. — Вы получили деньги за те двенадцать генераторов?

— Нет. Кстати, монтаж остальных одиннадцати почему-то приостановлен.

— Всё равно, получите за все. Что вы делаете сейчас?

Козюкин рассказал о разрешении, недавно пришедшем из Москвы, о тех изменениях, которые он внес в расчет статора, — изменениях, результатом которых должна быть авария.

Найт задумался.

— Хорошо, — сказал он, наконец. — Но мы вас ценим больше, чем вы сами предполагаете. Пусть это будет последняя ваша работа... временно, конечно. Что вы сделали для того, чтобы оградить себя от возможных подозрений?

Козюкин самодовольно улыбнулся. О, очень много. Депутат горсовета, член партии, руководитель кружка, и прочая, и прочая, и прочая... Кроме того, медленно, но верно он заставляет думать, что Воронова одна повинна в прошлой аварии.

Найт нетерпеливо спрашивал:

— Вы знаете кого-нибудь в Высоцке, на комбинате?

— Не-ет, кажется, никого.

— Кажется? А если подумать? Помните, вы рассказывали мне об одном уральце, металлурге?.. Я забыл его фамилию...

Козюкин вспомнил. История была старая.

Несколько лет назад с Урала приехал инженер Тищенко и как-то в частной беседе рассказал об исследованиях в области блиндированной стали. Козюкин не преминул сообщить об этом «хозяину»; тот только рукой махнул: «Мне нужны точные сведения, а не сплетни. Во всяком случае, я могу сообщить туда одно: есть такой болтун — Тищенко».

Козюкин вспомнил и удивился: как, разве Тищенко работает в Высоцке? Теперь улыбался Найт: «Депутату, партийцу не к лицу не читать газет. Работает, да еще смешным мастером в мартеновском цехе. Так о чем же он тогда болтал?»

И выслушав рассказ, слышанный уже несколько лет назад, Найт сказал как-то очень скучно, будто речь шла о чем-то несущественном и не относящемся к делу: «Ну вот, как говорится, быть бычку на версвочке... И всё-таки это не то, что мне хотелось бы. А вы, — он в упор поглядел на Козюкина, — вы запомните: тактика меняется. Вербуйте, порочьте, но меньше рискуйте собой. В конце концов настоящие бои еще впереди»

И хотя сам он только что гережил часы смертельного страха, хотя страх этот не прошел и сейчас, он попытался улыбнуться Козюкину ободряюще.

Но странная вещь! Когда Козюкин вышел и по мелочам вспомнил весь этот разговор, ему вдруг стало тревожно. Ничего не скажешь, «хозяин» был куда как заботлив: вот вам деньги, не лезьте на рожон, не рискуйте, мы вас ценим. Раньше с ним так не разговаривали, не только «сам», но и его

подчиненные. «Может быть, не только меняется тактика, но и указания оттуда? — подумалось Козюкину. — А если так, то, значит, я... Значит, я становлюсь у них всё-таки ведущей фигурой!»

3

В Высоцке Брянцев не был никогда и с интересом ехал в этот город, выросший за какие-нибудь десять лет. Поезд шел между двух глухих стен леса, и могучие мачтовые сосны подступали к самой железнодорожной насыпи; паровозный дым застилал кроны, и видны были только стволы, огненно-красные, словно отлитые из меди. Брянцев любил смотреть из окна поезда: его всегда охватывало удивительное спокойствие, а вид леса, да еще такого, таежного, непролазного — еще больше успокаивал. Но внезапным, быстро проходящим волнением обнимало его всего, когда он видел на тяжелой, отвисшей ветке, совсем близко — черноперого глухаря.

Обычно близость города замечается издалека. В вагонах начинают собираться, снимают с полок чемоданы, надевают пальто, прощаются с теми, с кем уже подружились в пути и кто едет дальше. Здесь всё было не так. Брянцев смотрел в окно; в его купе трое «дальних», так и не найдя четвертого партнера, начинали вторую пульку в преферанс; в соседнем купе, где ехали студенты-горняки, пели песни:

...Ты уедешь к северным оленям,
В знойный Туркестан уеду я.

И сосны, сосны за окном, без конца и без края. Лес оборвался внезапно, ослепительно блеснули на солнце стеклянные крыши парников пригородного совхоза, а за ними уже потянулись железнодорожные платформы на запасных путях, множество вагонов с надписями мелом: «Высоцк—Куйбышев», «Высоцк—Каховка». Маленькие маневровые паровозы — «овечки» тянули, пыхтя, эти вагоны на сортировочную горку. Завиднелись две башни доменных печей в сложном переплетении подводных труб и строй коуперов возле них, некрашенные красные кирпичные здания цехов, огромные жилые массивы, и без конца трубы, трубы, трубы, то длинные и тонкие, то короткие и широкие — трубы с клубящейся над ними ватой дыма, — и кто-то сказал удивленно и радостно:

— Смотрите, уже Высоцк!

Брянцев сошел с поезда и остановился на широкой привокзальной площади. Гостиница была здесь же, возле вокзала, но он не торопился пройти туда, разглядывая начинавшуюся неподалеку каменную ограду комбината. Думалось ему сейчас о том, какой мощью, какой неизбывной силой надо обладать, чтобы так быстро поднять в дремучем лесу город — и в какие годы! Тут же он выругал себя за эту мысль, показавшуюся ему праздной. В самом деле, до восторгов ли сейчас, времени так мало!

Он быстро вошел в вестибюль гостиницы, снял номер, но даже не осмотрел его, только повесил в маленькой прихожей свой плащ и под ним, под вешалкой, поставил чемоданчик.

Дни ему предстояли трудные, и трудности эти начались, когда он начал искать адреса двух токарей и фрезеровщика. Одного токаря — Головлева — он нашел быстро, сравнительно быстро. Что же касается Коршунова и Морозова, то их, обзвонив и объездив добрый десяток учреждений, Брянцев тоже нашел; Коршунов был уже инженером, успел кончить заочное отделение политехнического института, а Морозов оказался техником-литейщиком. Когда Брянцев сообщил по телефону Курбатову первоначальные результаты своих поисков, тот словно бы весь осветился радостным смехом:

— А как же вы думали? Вот забыли на минуту, в какое время мы живем, и сбились было с верного пути. Конечно же, нельзя упускать из виду наше движение... — Через минуту он сказал уже резко: — Но надо учитывать, что враг может замаскироваться под этот наш рост, он может выполнять требования времени, учиться в наших институтах, быть на виду.

Вот и выясняй теперь, действительно это наши, честные, советские люди, жадные до знаний, до книги, — или есть среди них враг. И почему Головлев так и остался токарем?

— Главное сейчас, — сказал Курбатов, — выяснить, не были ли они в день убийства на озере. Учтите время. На поездку из Высоцка и обратно — около двенадцати часов.

Теперь Брянцев думал, с чего же ему начинать. Идти прямо на завод не хотелось. Город казался ему праздничным: на улице было мало людей, а всюду — на домах, на транспарантах — висели плакаты, плакаты без

конца: «Привет доблестным труженикам комбината — создателям первой сверхмощной турбины!». И портреты тех, кто создал эту турбину, о которой вот уже несколько дней подряд пишут в газетах.

На стене Дома культуры Брянцев увидел старую афишу и сразу же понял, что навести справки о всех троих будет несложно. В прошлую субботу был торжественный вечер, посвященный крупному производственному успеху комбината. Брянцев дочитал афишу до конца — начало в семь часов, — и толкнул дверь клуба.

Директор был у себя. Конечно, он знает, кто был на вечере. Он с первого дня на заводе, первые сосны валил.

— Ну, например, токарь Головлев?

— Саша, Александр Пахомыч? Сидел в президиуме, выдвинули его на Сталинскую премию.

— Коршунов, Матвей Георгиевич?

— Был. Вместе с ним утром домой возвращались.

— Морозов, Павел Анисимович?

— Тоже был. Мы ведь все вместе живем — вон, на холме новый домина работников ИТР. Да как же без них такой праздник пройдет, сами посудите! Видали на улице их портреты?

— Нет, — признался Брянцев, — не видал.

Брянцев прикинул: первый поезд в воскресенье уходил из Высоцка в семь тридцать две. Нет, по времени не получалось. Ратенау был мертв, как доказал Палиандров, рано утром. Может быть, товарный поезд, попутная

машина? Брянцев спросил, что́ они делали в воскресенье утром. Директор немного смутился, Брянцев настороженно взглянул на него.

— Знаете, у Саши Головлева характер прямо невозможный. Затащил сразу всех к себе, кричит: «Поговорили, потанцевали, а обмыть турбину забыли?». Дома у него стол уже был готов.

— Пир горой? — улыбнулся Брянцев.

— Да какой еще горой! Казбеком!

— И все трое были вместе, вы говорите?

— Да, конечно. Куда же они друг без дружки?

— Ну, спасибо. Наша беседа пусть останется пока между нами. Очень мне хочется повидать их всех.

Теперь это можно и нужно было сделать.

Час спустя он был в цехе. Его сопровождал мастер, седенький, в очках с жестяной оправой, точь-в-точь такой, каким обычно описывают и рисуют старых мастеров, умельцев-золотые руки.

— Вон Головлев, — кивнул мастер.

Но Брянцев не увидел никого. Огромный вал медленно входил в гигантскую трубу, в свете ламп ослепительно сверкали полированная поверхность вала и ободок трубы. С трудом удалось Брянцеву разглядеть возле этой махины крошечного в сравнении с ней человека, передвигавшего какие-то рычаги на щите управления.

— Что это? — спросил Брянцев мастера.

— Обработка цилиндра турбины. Сто пятьдесят тысяч киловатт даст. Наша вторая,

Только вот что: лучше к Головлеву сейчас не подходить, — прогонит.

Брянцев подошел ближе и высоко запрокинул голову, чтобы увидеть верхний край цилиндра. Станки тихо жужжали вокруг, всё в цехе сверкало, отражая свет.

Сначала он познакомился не с Головлевым, а с Коршуновым. Тот только что вернулся с заседания горисполкома и вошел в партком радостный, возбужденный: было решено представить лучших людей завода к правительственным наградам. Коршунов не обратил внимания на незнакомого человека, — мало ли кто заходит к парторгу ЦК Рогову. А перед этим Брянцев беседовал с Роговым о троих друзьях. Да, они вне подозрений. Рогов подтвердил рассказ директора Дома культуры: в воскресенье все трое были вместе, праздновали «день рождения» турбины.

Рогову позволили, он поднялся из-за стола и вышел, а Брянцев первый протянул Коршунову руку:

— Брянцев.

— Коршунов.

Фамилия никак не подходила к нему. Очень широкое, с большими серыми глазами лицо, высокий лоб, уже редеющие спереди волосы — от всего облика инженера веяло искренностью и простотой.

— Вы где воевали? — показав глазами на орденские колодки, спросил Брянцев.

Коршунов ответил, удивляясь, повидимому, что разговор начался не с турбины, не с заводских дел, а с прошлого;

— Я дошел до Будапешта. Там ранили, а пока лечился, и война кончилась.

— На севере вы не были?

— Как же, был. Но не долго. В первые месяцы войны.

— Кажется, вам пришлось тогда много пережить.

— Да, было трудно.

Он не хотел, очевидно, рассказывать незнакомому человеку о том, что было с ним в первые месяцы войны. Брянцев это понял, и поставил ему в заслугу.

— Ну, а может быть вы помните подвал в Солнечных Горках, помните, как переходили фронт?

Большие серые глаза Коршунова, казалось, раскрылись еще шире. Пытливо и внимательно, будто вспоминая что-то, он долго вглядывался в лицо Брянцева, а потом сказал:

— Да, подвал помню, а вас вот не припоминаю.

— Меня там и не было, — улыбнулся Брянцев, наблюдая, как удивление Коршунова всё растет. И, может, оттого, что Брянцев улыбнулся, и улыбнулся как-то особенно хорошо, открыто, хотя и несколько хитровато, Коршунов проникся к нему радостной для него самой доверчивостью.

Коршунов подробно, с присущей ему точностью, рассказал, как вместе с капитаном Седых и председателем райисполкома выбирался из окружения, как потом попал в распределитель и оттуда — в другой полк, что для него было тогда большим огорчением: привык уже к капитану, столько с ним пережито было.

— Вы, кажется, здесь со своими друзьями?

— Да, посчастливилось нам. Вместе с Морозовым и Головлевым фронты прошли, вместе и сюда направились.

В его словах, мягких и ласковых, когда он заговорил о том, как его друзья поднимали завод, кирпич за кирпичом, как собирали станки по винтику, по гаечке, Брянцев уловил глубокую любовь к людям, к общему делу и перестал думать, что у Коршунова и его друзей может существовать еще какая-то другая, вторая жизнь.

А Коршунов говорил, сколько тревог и волнений они испытали, осваивая выпуск первой турбины, как переходили на скоростное резание.

Он глядел в глаза Брянцеву, щеки у него зарозовели и голос звенел, так страстно и убежденно говорил он о своих друзьях:

— Здесь нас приняли в партию... — он чуточку замялся, покраснел еще больше, и Брянцев не мог не улыбнуться, спросив, что еще было здесь. Тут Коршунов смутился окончательно, очень смешно, даже до слёз, и отвел глаза.

— Вы... только не говорите. Пашка Морозов здесь, чёрт его дери, поцеловался первый раз в жизни, я-то уж знаю как-нибудь.

Брянцев засмеялся. Рассказ Коршунова создал в его представлении образы хороших людей. Брянцев встал. А Коршунов вдруг взглянул на часы и тихонько охнул: опоздал, ей-богу опоздал. Куда? Коршунов выворачивал карманы, денег у него с собой оказалось десять рублей.

— Слушайте, что ж делать-то, а? В четыре из больницы выписывают Нину Морозову, а деньги все дома. Цветы... — Он мчался уже к дверям.

Брянцев догнал его:

— Возьмите у меня. Впрочем, я тоже свободен. Можно и мне с вами?

— Едем, — категорически решил Коршунов, подхватывая Брянцева под руку. — Гнать не буду, — пообещал он, открывая перед ним дверцу своей машины...

Когда они с двумя огромными букетами цветов вошли в вестибюль больницы, там было уже несколько человек. Брянцев сразу догадался, кто из них Морозов, — у всех молодых папаш на лице такая улыбка, будто рот за кончики накрепко привязан к ушам. Он нервничал, крутил пуговицу и сделал из мундштука папиросы что-то несусветное, а Головлеву стоял рядом и убеждал его:

— Ну, теперь чего психовать, глупый! Парень родился? Родился. На три восемьсот? На три восемьсот.

Коршунов тихо спросил:

— Выписывают?

Морозов мотнул головой, пожал плечами, что-то показал руками — это, надо полагать, значило «да», но что-то уж очень долго не выходил никто. Наконец в дверях появилась его жена Нина. Морозов охнул и бросился к ней. Красный, растерянный, взлохмаченный, он стоял перед женой, не зная, что ему делать, даже «здравствуй» не сказал и только робко протягивал руки. Головлеву кашлянуло, раз и еще раз, и Морозов, словно поняв, ткнулся

губами куда-то в ее переносицу, а потом, весь изогнувшись, неумело взял в руки бесценный голубой сверток. Кто-то радостно засмеялся, кто-то откинул край одеяла, а жена глядела на Морозова такими счастливыми и лучистыми глазами, что Брянцев не выдержал и отвернулся, — его тронула эта радость.

А через пять минут Морозов уже, освоившись, шумел:

— Зачем машина? Ниночку отвезите, а мы с сыном пешком, парню город показать надо.

— У него еще в глазах всё шиворот-навыворот, — проворчал Головлев.

Морозов не понял его, принял на свой счет и расшумелся пуще прежнего:

— У самого у тебя навыворот! Пошли пешком! — Всё-таки он умоляюще поглядел на жену, и та согласно кивнула.

Все вышли на улицу. Мимо, перекидываясь шутками, шла молодежь — на комбинате кончилась смена.

И вдруг где-то возник и поднялся мощный заводский гудок, он растекался в воздухе — грузный, веселый, призывный, и, осторожно повернув ребенка, Морозов крикнул:

— Смотрите! Слушает!

На мир — на небо, на лица, на деревья — и впрямь глядели лучистые, как у матери, глаза. Казалось, он и на самом деле прислушивался к звукам этого обычного рабочего дня своей родины...

Брянцев представил свой доклад о поездке в Высоцк Курбатову. Доклад был написан

сухо, по-деловому, и когда Курбатов прочел его и отложил в сторону, Брянцев всё, всё рассказал ему, — и как «обмывали» турбину, и как встречали ребенка. Курбатов слушал его, не перебивая. Как живые, вставали в рассказе Брянцева люди, и Курбатов пожалел даже, что не сам съездил туда.

Брянцев замолчал.

— Ну, а у меня вот какие новости. Старая рубашка, брошенная преступником, убившим Ратенау, как я выяснил, вполне могла принадлежать военному служащему, продолжающему свою службу сейчас. Там, на рубашке, — номер части, в которой служил Седых. Номера этой части больше нет; это теперь та гвардейская дивизия, где мы с вами были. Помните в головановских показаниях — военный? Длинный, с тонкой талией, как у осы?

— Помню.

— Так вот, надо послать туда человека вдумчивого, осторожного, способного вжиться в армейскую среду. Поиски будут, очевидно, долгими. Кого, вы думаете, можно послать?

Брянцев перечислил несколько фамилий. Нет, одни были заняты, другие в отпуске. Брянцев сказал:

— Ну, значит, поеду я.

— Вы мне нужны здесь. А что вы думаете насчет Лаврова? — Брянцев не понял. Курбатов объяснил ему, что по его просьбе Лаврова перевели в эту часть, он не сегодня-завтра должен выехать.

— Простой и скромный человек, — с неожиданным волнением сказал Курбатов. — Как он будет удивлен, быть может, новым на-

значением. Он не сразу узнает причину: ведь ему надо, не возбуждая подозрений, легко и свободно войти в дружную семью, куда пробрался враг.

Брянцев сам волновался, слушая майора. Да, он прав, Лавров может помочь. Он, может быть, даже попросту узнает врага в лицо...

Телефон зазвонил на столе, и Курбатов снял трубку:

— А, это вы! Давно мы с вами не виделись. Как живете?.. Да нет, пожалуй... Если понадобится — вызову. Вы, я слышу, недовольны новым назначением?..

И Брянцев догадался, что это звонил Лавров, прощаясь перед отъездом.

Три дня назад, отправив Брянцева в Высоцк и оставшись один, Курбатов решил продолжать розыск, но не из кабинета, сидя за своим столом и — в который раз! — задавая арестованным вопросы, а на месте. Скударевский выложил всё, что знал, и, оказалось, знал он очень мало, а Хиггинс, надо юлагать, твердо решил запира́ться, юлил, не договаривал того основного, что именно сейчас важно было получить Курбатову. Допрос Хиггинса не давал даже возможности догадаться о том, какие же, собственно, задания он привез группе. Конечно, Хиггинс великолепно понимал, что, расскажи он об этих заданиях, группа немедленно провалится, ни одному нельзя будет и шагу ступить. Хиггинс запира́лся, и это лишний раз наталкивало Курбатова на мысль, что он это делает неспроста, — ждет, когда эти

задания будут группой выполнены. На кого же рассчитывает Хиггинс?

В своих размышлениях Курбатов снова вернулся к Ратенау, к тем сведениям, которые были у него обнаружены. Он, Ратенау, не предполагал, что он открыт, и не собирался исчезать после попытки убрать Позднышева.

Курбатов снова и снова приходил к выводу, что кто-то удерживал его на «Электрике», что там сидит враг. Анонимное письмо о Вороновой — оно лишний раз подтверждало верность его вывода.

На днях генерал зашел в его кабинет и, просмотрев так хорошо уже знакомые ему материалы следствия, задумчиво постучал по папке карандашом:

— На «Электрик» надо обращать больше внимания, на «Электрик». В ваших рассуждениях всё верно, но надо поторопиться. Вот, — генерал вынул протокол допроса Скударевского, — этот тип сказал, что им было приказано в скором времени — через полтора-два месяца — быть готовыми к отъезду. Почему? Да потому, чтобы после событий на «Электрике» никто не попался.

Генерал захлопнул папку и встал из-за стола:

— Только что мы с полковником Ярошем беседовали об этом деле. Вывод у нас совпал: надо спешить. Словом, жду вас послезавтра, доложите о всем новом, что замечено.

И ушел, пожелав ни пуха ни пера, как это любил делать всегда.

Секретарь партийного комитета на «Электрике» уже знал, что отравлением Поздныше-

ва заинтересовались следователи. Поэтому, когда Курбатов пришел к нему, секретарь не удивился. Они сели рядом на кожаный диван, не торопясь, как люди, которым предстоит долгая беседа, закурили, и только тогда Курбатов начал прямо, без обиняков:

— Мне бы хотелось посмотреть все материалы комиссии. Я ведь, — он улыбнулся, — в прошлом сам инженер, может разберусь.

Секретарь снял трубку местного телефона, куда-то позвонил и бросил трубку на рычаг.

— Скажите, у нас на заводе есть враг? Я спрашиваю вас как коммунист коммуниста.

— Да, — спокойно ответил Курбатов. — Я полагаю, есть. Но не исключена возможность, что этот прохвост носит в кармане такой же партийный билет, как и мы с вами, и даже, быть может, критикует вас на собраниях. Такой враг особенно опасен, его труднее распознать.

Принесли материалы. Секретарь передал их Курбатову, и тот сказал:

— Я вам мешать не буду, сяду вот сюда, погляжу. Если встретится что-нибудь неясное...

Он так увлекся чтением, что не обращал внимания на телефонные звонки, на людей, приходивших к секретарю в кабинет. Только один раз он оторвался от бумаг, услышав голос, показавшийся ему знакомым. Высокий, полнеющий мужчина, франтоватый не по летам, сидел перед столом секретаря и ровно, неторопливо рассказывал о сегодняшнем зачете в своем семинаре:

— У всех, в основном, приличные, очень приличные знания. Я говорю об этом не без

несколько удовольствия, разумеется, но не хвастаюсь. — Он назвал несколько фамилий, в том числе и Воронову, и только тогда Курбатов отчетливо вспомнил, где они виделись: там, внизу, в проходной, в один из первых дней следствия. Тогда он тоже говорил о Вороновой, правда, куда менее уважительно. Да, тот самый, и фамилия его — Козюкин.

Курбатов снова листал бумаги, вчитывался в слова, разбирался в цифрах. Ему сейчас было трудно понять всё в частности: годы много стерли в памяти, да и, кроме того, электротехника у него в институте преподавалась на четвертом курсе факультативно, то есть хочешь — ходи, не хочешь — не ходи. И, что грех таить, он не всегда ходил на эти лекции, предпочитая им футбол, академическую греблю или прогулки с девушками, — а теперь ругал себя.

Когда Козюкин ушел, Курбатов, не отрываясь от бумаг, спросил секретаря парткома:

— Против Вороновой выдвигалось обвинение в аварии?

— Да. Вот этот товарищ, что у меня сейчас был, и выдвигал. Потом, правда, извинялся перед Вороновой, когда комиссия уехала. Да при чем здесь она, вы же видите? Это вина завода... или вредительство. А мы, как страусы, прятали голову под крыло: «Мы не бракоделы!», «Нас до сих пор никто не упрекал!». Простите, мне надо идти к директору...

— Мы еще увидимся, — сказал Курбатов. — Я, пока не кончу с этими бумагами, никуда не уйду.

Их было еще много, этих бумаг, очень много,

и Курбатов просмотрел их бегло. Дойдя до папки с техническими дневниками Вороновой, он попросту отложил ее в сторону: пожалуй, не стоило терять время на них, — могут ли они повести на след...

Но тут же он поймал себя на том, что склонен просто облегчить себе труд. Нет, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Он взял папку с записями Вороновой и подошел к окну. Там было светлее. «Спокойней, спокойней, товарищ майор, — усмехнулся он. — Ты не кисейная барышня».

Через минуту он уже весь ушел в расчеты, в сухие слова дневника, в чертежи...

Вернувшийся секретарь парткома застал Курбатова за странным занятием. Он стоял у окна, держа в руках листок бумаги и вертел его то так, то этак, поднимал к глазам, переворачивал и глядел на свет, как врачи рассматривают рентгеновский снимок.

— Поглядите-ка сюда, — пригласил он секретаря к окошку. — Вот здесь, видите, цифры.

— Да.

— Они написаны по стертому. Очень аккуратно стерто, и очень аккуратно написано.

Секретарь тоже нахмурился и тоже начал вертеть бумагу, глядел на свет, подносил к глазам...

— Да, написано по стертому. Значит... значит, Воронова в последний момент стерла неверную запись и, так сказать, внесла верный корректив? Это вы хотите сказать? Но комиссия да и я сам...

— Нет, — ответил Курбатов. — Я не хочу этого сказать. Я заберу этот листок и сдам его

в лабораторию; там определяют, что́ было написано прежде.

Уже у себя дома, в ожидании результатов экспертизы, Курбатов выдвигал десятки различных предположений. Дома ему думалось трудней, чем на работе; там, в кабинете, всё было спокойно: ковер, глушащий шаги, спокойного темного цвета стены, спокойная темная мебель и — никаких лишних предметов. Здесь, в комнате, охотничье ружье и ягдташ висели над диваном, всю противоположную стену занимала книжная полка — от пола до потолка, а на столе стояли безделушки, никому не пужные, но милые сердцу. Мать вернулась из школы и оторвала его от мыслей:

— Ты уже дома? А я задержалась, родительское собрание. Знаешь, по той лестнице мальчонка такой живет, рыжий-прерыжий, «Димка Карандаш» — спасенья просто от него в школе нет. Директор — за исключение, а я — за воспитание...

Курбатов улыбнулся, глядя на нее. Мать будто бы и не постарела. Он на секунду представил себе, как она спорила с директором, и неожиданно для матери шагнул к ней и обнял — худенькую, усталую, такую знакомую и — всё-таки молодую, какой может быть только мать.

Она легонько взяла его за руку и притянула к себе:

— А ты не дури, пожалуйста не дури. Тяжело, так скажи, не таи в душе-то, на людях и смерть красна. Мне твои тайны не нужны, я о них не спрашиваю, а одну папиросу за

другой сосать всё-таки не позволю. Ну, говори: трудно?

Курбатов расхохотался, и ничего не ответил. Мать всё понимала и так. Когда она вышла, он снова прошелся по комнате, а потом сел к столу и начал звонить в лабораторию.

Долгое время там было занято: едва услышав короткие гудки, Курбатов, не кладя трубку, нажимал пальцем рычаг и звонил снова. Наконец там подошли.

— Что это у вас всё занято? — спросил Курбатов. — Как там дела?

— Товарищ майор? Так мы же к вам звонили всё время, и у вас всё занято.

— Ну, как, сделали?

— Сделать-то сделали, товарищ майор, да... — там, на другом конце провода, лаборант замялся. — Да проверять пришлось. Понимаете, товарищ майор, там то же самое было написано.

Уже подошла полночь, а Курбатов всё ходил и ходил, всё думал и думал. И неизменно он возвращался мыслью к анонимному письму; тот, кто его писал, писал в расчете на то, что следователь в первую очередь заинтересуется материалами Вороновой. Заинтересуется, обнаружит правильные цифры, но написанные по стертому, и вот, пожалуйста, — улика. Этот «кто-то» позаботился об уликах, но промахнулся в своей заботе.

А кто же тогда «кто-то»? Кто это ее первый обвинил, обвинил открыто в аварии?

Козюкин? «Ты устал, товарищ майор, ты становишься чрезмерно бдительным и впадаешь в подозрительность. Где основания думать, что человек, не имевший к этим чертежам ровно никакого отношения — его имя не значится в числе конструкторов, — что этот человек и замешан тут. Нет пока таких оснований!»

4

Непривычно бездейственной жизни Лаврова пришел неожиданный конец; по началу он обрадовался этому, потом радость сменилась недоумением. Отправляясь в штаб округа, Лавров долго счищал с фуражки несуществующие пылинки.

Его переводили в другую пехотную дивизию, на должность заместителя командира батальона. В штабе округа полковник Хохлов, вручивший ему направление, улыбнулся, как старому знакомому, и сказал несколько напутственных слов:

— Не грустите, старший лейтенант. Вы сколько лет служили в старой части?

— В старой? — переспросил его Лавров. — Двенадцать лет. Как после госпиталя перешел с флота на сушу, так и остался...

— Солидный стаж. Вы сами подавали рапорт о переводе?

— Нет, я рапорта не подавал.

Хохлов задумчиво покачал головой:

— Ваше назначение подписано... — тут он назвал фамилию того, кто подписал назначение, и Лавров невольно вытянулся. — Так что, товарищ старший лейтенант, явитесь в штаб

начальника гарнизона, и там... Вы знаете, где ваша часть?

— Нет, не знаю.

Хохлов кивнул:

— Когда будете готовы — позвоните мне. Туда каждый день идут машины, пристроим.

Лавров поблагодарил его и, всё-таки ничего не понимая, вышел.

Он позвонил Курбатову — тот словно дожидался его звонка и сразу же снял трубку:

— А, это вы! Давно мы с вами не виделись. Как живете?

Лавров рассказал ему о новом назначении и спросил, нужен ли он еще Курбатову здесь, в городе. Тот ответил, как показалось Лаврову, равнодушно:

— Да нет, пожалуй... Если понадобится — вызову. Вы, я слышу, недовольны новым назначением?

— Приказ есть приказ, — сказал Лавров. — Значит, так нужней...

— Возможно, возможно, — повторил Курбатов. — Стало быть, мы не прощаемся, вы теперь в нашем округе. Будете в городе — звоните. Всего хорошего.

— Всего доброго.

Оставалось сообщить обо всем Кате. Звонить на завод было бессмысленно, — она не бывала в заводууправлении. После того как Позднышев заболел, ее назначили инженером цеха, и найти ее по телефону было трудно: на заводе заканчивалась установка прессов.

Лавров напрасно прождал ее возле заводских ворот; смена прошла, а Кати всё не было, — очевидно, уехала раньше по

учреждениям; охранник, уже знавший и Лаврова, и зачем он стоит здесь, поглядывал в его сторону с сочувствием. Лавров, тяжело вздохнув, решил оставить её дома записку. Что ж, придется, видно, уехать, не увидавшись. И ничего, ничего не было еще сказано ей. «Может, оно и к лучшему, — думалось Лаврову, — может, время проверит чувство, хотя чего уж тут проверять, я ведь не шестнадцатилетний мальчишка».

Но как бы он ни утешал себя этими думами, а уезжать из города, так и не увидевшись с Катей, было грустно.

Как и было договорено, он позвонил Хохлову, и тот сказал, что через два часа в дивизию идет легковая машина и, если Лавров хочет... Конечно, на машине было удобней. Ехал подполковник Седых; фамилия эта ничего не говорила Лаврову. Седых поздоровался с ним сдержанно, но видно было по всему, он рад был попутчику, — ехать предстояло, «если не нарушать правил», часов пять с лишним.

Они еще не успели выехать из города, а Седых всё уже знал о Лаврове и не удивился переводу из старой части в эту — что ж, дело обычное.

Сам Лавров стеснялся задавать вопросы Седых. Откинувшись на мягкую спинку сиденья, Седых заговорил сам, медленно, часто задумываясь, словно бы припоминая, что ему еще надо сказать:

— ...Вы едете в прекрасную часть. Судите сами: прорыв блокады Ленинграда, разгром фашистов у Нарвы, освобождение Таллина...

Затем Кенигсберг, Кранц, Штеттин... — Седых с удовольствием называл эти города, вехи славного пути дивизии. — Конечно, есть части, дравшиеся под Москвой, в Сталинграде, бравшие Берлин. Но мы, как видите, тоже делали своё дело. Работа вам предстоит солидная, товарищ Лавров. Народ у нас хороший, сойдётся быстро. Вы в какой батальон? К Москвину? Отличный офицер, спокойный и знающий...

Так Седых знакомил Лаврова с частью, потом разговор как-то само собой перешел на семейные темы; Седых рассказал, тоже с неприкрытой гордостью, что у него две дочери, славные такие девчушки.

Лавров сказал:

— Я холост.

— Вам сколько лет?

— Тридцать один.

— Пора, пора, — улыбнулся Седых. — Ну, вот мы и приехали.

Они вместе вошли в домик, где помещался штаб полка, и Седых, не дослушав, что Лаврову надо представляться начальству, куда-то ушел. Лавров остался один, пусто было и на улице, не у кого было спросить, где находится дежурный по части или командир полка. Лавров постучал в одну дверь, ему не ответили, в другую — тоже закрыто, он выглянул тогда за окно и увидел, что к штабу идет какой-то офицер.

— Пусто, что ли? — спросил офицер. — Это всегда так перед инспекторским смотром.

В тоне, каким были сказаны эти слова, Лаврову послышалась усмешка, он не ответил.

— Вы что, новенький? Представляться? Подполковник Седых, кажется, в городе.

— Разве он командир полка?

— Ну да, а то кто же... А я вот к начштабу пришел, вроде бы на проборцию, — он усмехнулся, — фитилей у нас не жалеют. Вы на какую должность?

— Заместитель командира батальона.

— Ну, это полегче. У меня вот — транспортная рота, одна морóка.

Он замолчал, видимо, «заскучав» по поводу предстоящего выговора, и Лавров тоже не начинал разговор, — что-то ему не по душе были эти словечки — «проборция», «пусто перед смотром». Когда он вышел через час из штаба полка, он уже и думать забыл о командире транспортной роты. Седых принял Лаврова хорошо. Правда, на этот раз подполковник был суше, но напоследок он особенно ласково пожал Лаврову руку и сказал подчеркнуто, с особым нажимом:

— Приглядывайтесь к людям. Ну, удачи...

Командиру батальона Лавров сразу доверил все свои печали:

— Я, попросту говоря, не знаю, с чего у вас начинать...

Для Лаврова начались трудные дни. С утра до вечера, до отбоя, он проводил время то на стрельбищах, то в «классах». Эти «классы» были необычными. Просто обнесено двадцать квадратных метров плетеным из прутьев заборчиком, а вместо крыши — голубое небо.

С первых же дней в глаза ему бросились недостатки. У нескольких лейтенантов — командиров взводов — были неважно подго-

товлены уроки по истории СССР, один молоденький, только что прибывший из училища, провел свой урок так серо, что Лавров после отвел его в сторонку и прямо спросил:

— Скажите, для кого вы рассказывали про походы Суворова?

— Для солдат, разумеется.

— Нет, не для солдат. Вы познакомились уже с личным составом взвода?

Лейтенант весь зарделся, как девушка, и отрицательно покачал головой:

— Нет, не успел еще.

— Ну, так вот: у вас во взводе только трое с шестилетним образованием, ниже нет. В основном — образование семилетнее. И это не только у вас, так почти повсюду. Зачем же вы рассказываете им то, что они знают не хуже вас. Мало работали, надо работать больше...

Но вместе с тем в глаза ему бросилось и другое. Как и всюду, здесь люди жили слаженной, рабочей жизнью, спокойно и уверенно. Подъем, зарядка, потом занятия, а вечером — отдых, и Лавров с удовольствием прислушивался к молодым, сильным, здоровым голосам, крепкому смеху, к выкрикам на волейбольной площадке, к неторопливым беседам на традиционных «перекурах» старшины второй роты Шейко.

Шейко был старослужащим, прошел с дивизией не одну сотню верст, она для него была и домом родным и семьей. Жизненный опыт Шейко, этого грузного, но удивительно ловкого украинца, поражал Лаврова. И начитан был Шейко солидно, в палатке у него

постоянно появлялись новые книги, и чего-чего только не было тут: и «Анна Каренина», и «Сочинения А. Островского», и Флобер, и томик стихов Блока, оказавшийся в библиотеке, и, наконец, масса политической литературы, которую старшина читал с особой охотой.

Через несколько дней после приезда Лавров зашел на этот вечерний перекур к Шейко и, никем не замеченный, сел в сторонке, за гранитным валуном, заранее приготовившись услышать что-нибудь интересное. Вокруг старшины сидело человек пятнадцать. Все доставали курево, чиркали спичками, с удовольствием делали первые затяжки. Людям, уставшим за день, приятно посидеть, покурить и поговорить о том, о сём.

— Ну, так о чем сегодня рассказать? — спросил Шейко. — Душещипательное?

— Отставить душещипательное. Научное давай.

— А ну его! Что-нибудь повеселее, байку к примеру.

— Байку так байку. — Шейко лукаво, для вида, задумался.

Все подвинулись к нему ближе и уже заранее улыбались, подталкивая друг друга: ну, держись, сейчас начнется.

— Как я с англичанами разговаривал, — рассказывал, нет?

— Нет, не рассказывал, давай!

— Ну, дело было такое... неофициальное. Поехал я прошлой осенью в город, зашел к земляку. А он, знаете, в новом доме на проспекте Мира... такой дом шестиэтажный, в прошлом году только построили. Словом,

въехал он туда на новую квартиру, и от завода недалеко, и квартирка дай боже мистеру Твистеру. Приехал, значит. И, значит, по случаю встречи сели мы за стол. Вдруг — звонок. Его жена пошла открывать, слышим, извиняются в прихожей, потом входят. Поглядели мы с Грицко и ахнули: англичане, ей-ей! Делегация какая-то. Выступил тут один наш, провожатый, надо думать: так и так, говорит, приехали они к нам, говорит, поглядеть, как живут советские рабочие. простите, говорит, за вторжение. Что ж, думаю, такое вторжение мы одобряем, ежели у тебя виза есть. Ну, походили они по квартире... Газовую ванну оглядели. Ну, понравилось. Один из них очень здóрово говорил по-русскому, чёрт его знает, где насобачился. Гляжу, он меньше всего на хозяина внимание обращает, всё ближе ко мне да ко мне.

«Вы, — говорит, — кто?» — «Я, — говорю, — военнослужащий, в звании старшины», — «Очень, — говорит, — приятно, я сам был сержантом», — и ручку мне тянет и называет такую фамилию, что сказать неприлично... Словом, нехорошая такая фамилия, а тут, понимаете, женщина всё-таки. Чёрт, думаю, с тобой, тут твои родители виноваты, а дальше посмотрим. Подъезжает он, вижу, ко мне и спрашивает: очень, говорит, сильно вы к войне готовитесь?..

Шейко замолчал, с наслаждением прикуривая от соседа. Лавров улыбнулся: ах, хитрец, знал, когда замолчать, на самом интересном месте. Но рассказчика поторапливали, и он спокойно сказал:

— Не спеши. Козьму Пруткова читал? Так вот то-то же, что не читал. Поспешность, говорил он, нужна только при ловле блох.

Он переждал, пока утихнет смех.

— Так на чем мы остановились? Да... Что ж, говорю, если вы готовитесь, нам ведь не сложа ручки сидеть.

Он поморщился, да и говорит: «У вас песня есть про бронепоезд на запасном пути». — «Точно, — говорю, — товарища поэта Светлова песня». — «Про поэта, — говорит, — я такого не слыхивал, а вот что бронепоезд вы с запасного пути перевели — знаю».

«Ну, — отвечаю я, — вранье это, мистер... Не те газеты читаете. Это вы же в Корее дела делаете такие, что...» — гляжу, а он оживился весь. Нет, думаю, дулю тебе, — во избежание ноты протеста умолчим, что вам за такое дело положено.

«Ну, хорошо, — говорит, — сойдем с этой щекотливой почвы, а вот вы скажите, вы подписывали обращение Совета мира?» — «А как же, — говорю, — конечно, подписывал». — «Так почему же вы в армии тогда? Мир и армия, дескать, — вещи разные». — «А потому, что мы ведь мира не просим, мистер... Мы его охраняем, мистер... И вообще, мистер, — говорю, — надо бы вам политически вырасти». — «Ну, хорошо, сойдем и с этой почвы. А как, — спрашивает, — вам нравится ваше оружие?» — «Что ж, — отвечаю, — очень безотказное даже оружие».

Гляжу, а он опять морщится, — не по душе ему это. А меня, понимаете, так и подмывает ему что-нибудь едкое сказать. Из последних

сил креплюсь. И он, видно, тоже чего-то хочет спросить, да боится. Ну, так и разошлись, я даже вздохнул. — мало поговорили.

Ушли, значит. И жена земляка моего ушла в детский сад за сынишкой, а мы с дружкой пошли во двор. в гараж, его машину посмотреть, «Победу». Глядим, а англичане-то во дворе.

Доски там всякие во дворе, канавы, известка, кирпич — словом, развал и столпотворение. И вот играют там трое ребят, копаются чего-то, перемазались в глине — смотреть тошно... Англичане друг дружке чего-то шепчут и на ребят кажут, мол, вон у них детство какое, по задворкам да в грязище.

Гляжу, тот, который здóрово по-русскому насобачился, идет к ним и спрашивает: «Вы что ж тут играете? Есть же у вас и площадки для игр, и парки, и детские сады?». Тут поднимается сынишка моего земляка, вихры в глине, руки грязные, да и отвечает: «Есть, — говорит, — конечно». — «Почему же вы во дворе?» — «А мы, дяденька, Волго-Дон строим. Вот это, стало быть, шлюз — скоро откроем. А в детсаде, говорит, никаких стройматериалов нет, не то что здесь».

Тут прибегает жена моего земляка, да как начала жалобиться: который день Вовка из детсада убегает свой Волго-Дон строить, вон как весь перемазался.

Я стою хохочу, а Вовка насупился и — то ли матери, то ли мистеру: «Ну и убегаю, ну и подумаешь. Еще не то построим».

Я не выдержал тогда; словом, подошел к мистеру да так тихонько ему: «Вот. — говорю, — армия-то нам для чего нужна, понимаете?

Чтобы ребят охранять. А у нас, — говорю, — много ребят нынче, даже такие шпингалеты свои Волго-Доны строят». Тут повернулись они и ушли, а этот, с неприличной фамилией, даже воротник поднял.

Шейко кончил. И кто-то — Лавров не видел, кто, — подытожил рассказ:

— Верно, мистер, наделали на тебя, так не чирикай, как тот воробей.

И все разразились дружным хохотом. Лавров тихо отошел, и уже в своей палатке, зажигая лампу, подумал, что, в сущности, это та же политбеседа, умная, живая, и надо поговорить с Шейко — пусть побольше он рассказывает таких «баек», — а знает он их, надо думать, великое множество.

Было уже поздно; возвещая конец дня, гулко ударила пушка. Лавров достал с самодельной полки два наставления и развернул их. Сегодня на очереди был ручной пулемет Дегтярева, но по одному наставлению много не узнаешь. Лавров захлопнул книжку и вышел.

Шейко еще не ложился спать. Он был на складе оружия и вместе с дежурным по роте проверял, всё ли на месте. Увидев Лаврова, он вытянулся.

— Вольно. Вот что, товарищ Шейко. Дайте-ка мне ручной пулемет, хочу разобраться... Безотказное оружие, — добавил он, и Шейко понял, что офицер слышал его «байку».

Через пять минут Лавров был в своей палатке, и когда батальонный писарь, принесший Лаврову два письма, заглянул туда, он

увидел русую голову, склонившуюся над столом, и услышал, как Лавров говорил сам себе:

— ...Затем снимаем соединительную муфту, и рама разобрана. Теперь — затвор. Здесь вот — боевые уступы, обеспечивающие надежное запираение канала ствола.

Писарь, стараясь не шуметь, осторожно положил письма на приступок.

Письма Лавров обнаружил только на следующее утро. Одно было от отца; отец писал, что собрался было на пенсию, да передумал и будет работать на сплаве. Второе письмо было от Кати:

«Я знала, что рано или поздно Вам надо будет уехать. Я много думала о том, что происходило с нами за это время. Мы крепко подружились, Коля, и, сознаюсь, мне грустно стало, когда я прочла Вашу записку. Очень хочется снова Вас увидеть — с Вами как-то легче становится, как тогда, двенадцать лет назад. Вы какой-то удивительно сильный и ровный, иногда мне нехватает как раз этой силы возле себя...»

Когда батальонный писарь увидел из своей палатки, как старший лейтенант Лавров, проделав свою обычную зарядку, вдруг прошелся на руках, перевернулся, побежал, и потом, резко подпрыгнув, прокрутил в воздухе двойное сальто, — он сказал себе: «Чудеса в решете», — завидуя такой силище. Двойное сальто! — это же тебе не пробежка до озера и обратно!

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Выходной наступил незаметно, и, проснувшись утром, Лавров с грустью подумал, что день ему предстоит пустой, незаполненный делом, если не считать двух писем, которые необходимо написать сегодня, да вечером — концерта в клубе. Библиотека закрыта; он слышал, что несколько офицеров полка организуют сегодня рыбную ловлю. Лавров встал, оделся и пошел искать рыболовов.

Старший адъютант, кряжистый плотный капитан Горохов, проверяя свои удочки, из всех сил тянул лёску — жилку, и Лавров окликнул его:

— Что ж вы, Александр Вениаминович, шуку килограмма на два решили взять?

— Всяко... бывает... — пыхтел тот, натягивая лёску. — У меня... недавно... окунь фунта на два... — он поправил поплавок, проверил грузило и закончил со вздохом: — ушел!

— А знаете, Александр Вениаминович, — Лавров потрогал себя за бицепс левой руки, вытянув ее, — знаете, почему у рыбаков здесь синяки бывают?

— Ну? — недоверчиво, чувствуя подвох, спросил тот.

Лавров сильно постучал себя по бицепсу ребром ладони, как бы отмеривая размер:

— А обычно все божатся: «Ей-ей, вот такую шуку поймал!».

Горохов покосился на Лаврова и вдруг прыснул, засмеялся мелко и звонко, смех так и колотил его.

— Точно, ох, не могу, до чего же точно! У нас командир транспортной роты Ольшанский всегда так хвастает. В позапрошлый выходной показывал: вот, говорит, такой линь был, ребятам отдал, о-ох!

Потом они перебрались в уютной лодчонке на поросший частым лозняком островок. Дно около островка было глубокое, илистое; в ямах на дне возле него, как утверждал Горохов, водились ерши и окуни.

— Знатное место, кто понимает, — восторгался Горохов, доставая двумя пальцами червя, насаживая на крючок и поплеывая на него. — Когда уйду в отставку — обязательно с внуками буду здесь лето жить. Красота-то какая!

— Ни черта подобного, — пессимистически проворчал из кустов Ольшанский. — Под старость ты будешь заниматься одним видом рыбной ловли: таскать вилочкой шпроты из банки.

Горохов замялся, забормотал что-то вроде «ну, это там видно будет», но угрюмые слова Ольшанского испортили Горохову настроение, — правда, ненадолго; поплавок у него вдруг прыгнул и сразу пошел вниз, никто ахнуть не успел, как Горохов уже снимал с крючка первого окуня.

— Вот тебе и «рыбка плавает по дну — не поймает ни одну», — засмеялся кто-то, а полковой любимец, поэт и весельчак лейтенант Синяков, живо откликнулся экспромтом, не сводя глаз со своего замершего на воде поплавка:

Нынешняя рыбка
Клевала не шибко,
Что, с ее стороны,
Грубая ошибка.

И не успел стихнуть смех, как с берега, словно скользя по воде, эхо донесло:

— ...о...о...ов!

— Зовут кого-то? — поднял голову Горохов. Там, на берегу, стояла маленькая фигурка, махала руками, и снова донеслось протяжное: «о...о...ов!». В самом деле, кого-то из них звали, и Ольшанский на своем месте снова проворчал, не поворачивая головы:

— Чёрт его знает, не дадут в выходной посидеть нормально! Кого там?

— Кажется, меня, — сказал Горохов. — А ну-ка?

Он поднес к ушам ладони, сложенные лодочкой, и прислушался.

— Нет, это тебя, — кивнул он Лаврову.

С берега послышалось: «...еста... ехала-а!..» — и Лавров, сам прислушивавшийся к крику, удивленно пожал плечами:

— Невеста? Ко мне?

— Кричали Лаврова, — и Горохов невозмутимо полез за следующим червем, а Ольшанский хихикнул, словно хрюкнул, и все разом засмеялись, но не над тем, что приехала к Лаврову невеста, а что Ольшанский очень уж похоже хрюкнул. Лавров, всё еще пожимая плечами, влез в лодку и под общие пожелания скорейшей свадьбы отплыл.

Он греб, налегая на вёсла изо всех сил, стараясь умерить этим волнение, которое охватило его, чуть только он услышал свою фами-

лию и далекое «невеста приехала». «Неужели Катя?» — думалось ему. Милая, нежная, хорошая, всё-таки приехала, и значит... Он выкидывал вёсла, как учили его на занятиях по академической гребле, почти ложась спиной на переднюю банку, не оглядываясь на берег; когда нос лодки с приглушенным шелестом вошел в камыши, бросил вёсла, завел лодку на берег и огляделся. Дневальный стоял рядом.

— До вас прийихалы, — сказал он. — Коло леса, чуete, где дорога на танкодром, ждут.

Лавров сначала пошел, тяжело дыша после гонки на лодке, а потом не вытерпел и побежал узкой тропинкой. Тропинка шла под гору, и бежать было легко. Потом он выскочил на гудроновое шоссе, избитое по обочинам танковыми гусеницами; неподалеку начинался лес.

Еще издали Лавров увидел двух, сидевших рядышком на камнях. Катя! — он узнал ее сразу, второй же был мужчина, и, подходя, Лавров смотрел только на него — кто это? Потом он узнал и, замедлив шаг, перевел дыхание. С Катей приехал Курбатов.

Катя первая оглянулась, соскочила с камня и пошла навстречу Лаврову. Ветер дул ей в лицо, вся освещенная солнцем, она казалась насквозь пронизанной лучами, ветром, — легкая, стремительная, словно приподнявшаяся для полета. Она еще издали протянула руку, и Лавров, не понимая, что с ним происходит вообще, порывисто бросился к ней навстречу, чувствуя, как лицо у него краснеет от радости. Она поняла его состояние, когда он пробормотал

«Катя!» — и слова больше не мог вымолвить, глядя ей в глаза; потом он спохватился и пошел к Курбатову.

Курбатов тоже поднялся, пожимая Лаврову руку:

— Похудели, загорели, но вид бодрый... Вы... простите меня... — Он повел бровями в Катину сторону и, не дожидаясь ответа, с прежней улыбкой спросил: — А не пройтись ли нам немного?

Лавров догадался: предстоит серьезный разговор.

Они шли по дороге, затем свернули в поле. Травы колыхались под набегавшим ветром и нежно пахли медом. Катя, нагибаясь, уже срывала маленькие густокрасные гвоздики.

Курбатов шел, помахивая прутиком, потом оглянулся на Катю: та — должно быть, нарочно — отстала, поэтому их никто не мог слышать.

— Ну, Николай Сергеевич, еще раз простите, а полчаса я у вас отниму.

Лавров насторожился.

— Вы еще, я думаю, не знаете истинных причин вашего нового назначения, не так ли? — Лавров кивнул. — Этот перевод был устроен по нашей просьбе.

Лавров быстро взглянул на Курбатова, они встретились глазами, и Курбатов спокойно продолжал, уловив немой вопрос:

— Всё дело в том, что в дивизии, куда вы посланы, есть враг, быть может — один из тех, пятерых.

Курбатов рассказал ему о том, что, возможно, враг этот, пробравшись в армию, на-

дел офицерский мундир и надо найти его во что бы то ни стало.

Рассказано Лаврову было, конечно, не всё, известное самому Курбатову, а лишь незначительная часть, — достаточная, впрочем, для того, чтобы Лавров смог действовать не вслепую.

— Я понял, — сдержанно ответил Лавров.

— Вы только не горячитесь, — продолжал Курбатов. — Ведите себя так, как вели до сих пор; офицеры полка вас уже успели полюбить, — я разговаривал с Седых. Поиски надо начинать осторожно, это дело не кампанейское. Посмотрите, кто из офицеров уволялся в позапрошлую субботу и воскресенье. Выясните, куда они ездили. Учтите все мелочи, быть может даже незначительные на первый взгляд. Есть предположение, что у того — высокий рост.

Лавров жадно ловил каждое слово и накрепко запоминал. Его волнение не утихло, — наоборот, оно ширилось теперь, и трудно было унять его. Лавров чувствовал, что на него падает в тысячу раз бóльшая ответственность, чем та, которую он нёс раньше.

Курбатов снова обернулся:

— Подождем?

Катя подошла к ним с огромным букетом цветов; оттуда сверху, из ромашек, выглядывали ее смеющиеся глаза. «Нет, — говорили эти глаза, — я приехала к тебе по другому делу, и теперь ты — мой, и пусть твой и мой друг — Курбатов — проведет с нами весь день, он ведь ничуть не помешает нам, ты всё поймешь и так, верно ведь?..»

Оставшись к вечеру один, Лавров почувствовал одиночество. И не потому, что Катя уехала и снова ничего не было сказано, — о Кате он сейчас не думал, она словно бы отодвинулась куда-то, заслоненная тем главным, что нежданно-негаданно вошло в его жизнь.

Один он пошел на концерт. Там уже все собрались, зал был полон, ему кричали из передних рядов:

— Коля, Коля, Лавров! Иди сюда, место есть!

С трудом он протискался к своему месту и сел рядом с Гороховым, заранее зная, что сейчас пойдут расспросы. Но Горохов сначала обругал его, правда, шутливо, в обычной своей манере серьезно говорить о смешных вещах:

— Ты что ж это, лодку бросил и удрал, а мы — загорай! Спасибо, добрые люди шли, слышали, а то бы мы так и сидели до утра.

Лавров спросил: каков был улов? Горохов только рукой махнул, — прав Ольшанский, в банке консервов и то больше рыбы выудишь.

Десятки офицеров всё входили и входили в зал, их было много, очень много, честных, преданных своему долгу, своей стране, своему народу. И кто-то один — он мог быть здесь и даже шутить, смеяться, как все, — кто-то один был враг. Поди найди его!

— Садись, начинается, — дернул за рукав Лаврова Горохов. Лавров сел.

— В позапрошлом воскресенье, — сказал

он, — я смотрел «Баню». Великолепный спектакль! Ты видал?

— Нет, — вздохнул Горохов. — Я, наверно, уже месяц отсюда не выбирался. В тот выходной только собрался в город — хлоп: дежурным по части. А сегодня вот рыба эта...

Он уже смотрел на сцену, а Лавров как-то даже обрадованно сказал сам себе: «Прости меня, милый Александр Вениаминович, напрасно плохо подумал я о тебе!..»

...А Курбатов, возвращаясь с Катей в город, говорил с ней о чем придется: расспрашивал о ее любимых книгах, потом неожиданно вдруг рассказал о своем детстве, о далеком станке Белом на Енисее, куда были сосланы до первой мировой войны его отец и мать и где он родился в семнадцатом году. Разные эпизоды детства — школьные драки, первые обиды и радости — вспоминались почему-то вне всякой связи одна за другой. Он понимал, откуда идет эта непринужденность: просто очень хорошо, очень приятно сидеть рядом со своим человеком, которому веришь уже, как самому себе.

Дорога была длинной. Разговор свернул на завод, на заводские дела, и когда Катя начала рассказывать, как слабо еще ведется комсомольская работа, Курбатов перебил ее:

— А говорят, вы отлично сдали зачет по политическим дисциплинам?

— И это вы знаете? — улыбнулась Катя.

— Ваш преподаватель не скупился на

похвалы. Но впечатление было такое: не будь преподавателем он, вы бы все так ничегошеньки и не знали.

— Как сказать... От преподавателя очень многое зависит.

Курбатов был доволен, — незаметно для Кати, он вызвал ее на беседу о Козюкине. Недоволен он был другим: «Чего это я привязался к Козюкину. Мы даже не знакомы с ним, двумя словами не перемолвились». Наверно потому, что он первый обвинил Катю, хоть потом и взял свои слова обратно, и обвинение это совпало с тем, которое выдвинул автор анонимки.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Прошло уже достаточно времени для того, чтобы Хиггинс мог обдумать свое положение. Можно продолжить допрос.

Хиггинс проклинал всё: и полковника Роулена, и тот день и час, когда он, Хиггинс, появился на этот свет, и всю свою жизнь, — она казалась ему сейчас прожитой зря, и, наконец, эту страну, которой он не знал и которой не напрасно боялся.

Теперь Курбатов и Ярош рассчитывали узнать больше, чем в первый раз. Может, он одумался всё-таки, этот самоуверенный американец. Нельзя ведь предполагать, что Хиггинса послали только налаживать связи. Курбатов вспомнил фото пленку, найденную у Хиг-

гинса: Кислякова на фоне фортов. Несомненно, пленку эту передал Хиггинсу Найт. Они встретились, скорее всего, в поезде, но куда девался потом Найт? Вышел он из другого вагона, когда поезд подошел к городу и был свидетелем ареста Хиггинса, или слез в пути — этого Курбатов еще не знал. Но, как бы там ни было, если Найт мог передать Хиггинсу пленку, Хиггинс мог передать Найту задания.

Хиггинс вновь сидел перед Ярошем и медленно, словно нехотя, отвечал на вопросы. Нет, он приехал только для установления связей.

— А эта пленка?

— Я не имею понятия — что там.

— Вам передал ее Найт?

— Да.

— В поезде?

Хиггинс кивнул. Да, в поезде.

— Там же, где вы передали ему задания?

— Нет, я ему ничего не передавал.

— Значит, просто не успели передать, так, что ли? — усмехнулся Ярош, вертя карандаш, и ставя его то на остро отточенный кончик грифеля, то на комель.

Хиггинс молчал, он обдумывал ответ, нельзя было дать ему сосредоточиться.

— Вы всё-таки решили играть, Хиггинс, — тихо сказал Ярош. — Я спрашиваю вас — долго вы будете заператься? Дело проиграно, бежать отсюда не удастся. Рассчитывать на чью-либо помощь, особенно на помощь полковника Роулена, — смешно. Кстати, сколько он вам дал за эту поездку?

— Восемь тысяч.

— Только-то? Это, надо полагать, из тех ста миллионов, которые выделены на «взаимное обеспечение» Трумэном?

— Я не знаю, деньги не пахнут.

— Так какие же всё-таки были задания?

Хиггинс пожал плечами. Это должно было значить: нечего повторяться, заданий не было.

— Ну, хорошо. Предположим, что завод «Электрик» вас не интересовал, хотя там был у Найта свой человек, и не один, к тому же.

Хиггинс взглянул на полковника. Шпион подумал, что Найт тоже арестован за эти дни, с Найтом могла быть истерика и он мог выболтать всё.

— Люди были у Найта, и спрашивайте с него, — ответил он.

Курбатов, присутствовавший при допросе, с удовольствием подумал: «Расчет оправдался, он решил, что Найт тоже арестован, или по крайней мере подозревает это. Хиггинс согласился: люди у Найта были. «Люди» — во множественном числе!»

— Ну, — всё с той же насмешкой спросил Ярош, — если вам известно, что на «Электрикс» у Найта были свои люди, надо полагать, вас не интересовало, страдают ли они насморком или нет; вас интересовало, что они могут сделать?

— Мне неизвестно ничего, — упрямо повторил Хиггинс. — Это вам известно, а не мне.

Ярош и Курбатов молчали. Их не удивляло, что Хиггинс юлит, уходит от прямого ответа; их удивляло другое. На что он надеется?

Молчание было долгим. Курбатов знал: Хиггинс нервничает сейчас, — он уже скрипнул

раз или два стулом, не зная, куда ему поглядеть и куда девать руки со вздувшимися синими венами.

Ярош снова начал спрашивать: где в последний раз Хиггинс виделся с Роуленом? В Мюнхене, кажется? Роулен, очевидно, был недоволен неудачами Хиггинса в Эльблонге? Почему Хиггинса так интересовали турбины?

Нетрудно было заметить, что происходит с Хиггинсом. Задавая эти вопросы, чтобы сбить отчаянное, и по сути своей обреченное, молчание Хиггинса, Ярош видел, как он вздрагивает, продолжая играть равнодушного. Но, как в прошлый раз, когда перепуганному Хиггинсу в вопросе «поехали к ночи?» почудилось имя того, к кому он ехал, так, при слове «турбины», он вздрогнул сейчас, но, поняв, очевидно, что это может его выдать, пожал плечами и проговорил:

— Я интересовался ими потому... ну, мне было приказано ими заинтересоваться, вы же знаете, что такое приказ.

Курбатов быстро прикинул, где у нас строят турбины. Дальние города он отбросил, — у Хиггинса было командировочное удостоверение сюда, он шел к Найту и его группе, и, стало быть, задания, данные ему, могли касаться только предприятий города или области. В городе был «Электрик», в области — комбинат в Высоцке.

— Ну, «Электрик» интересовал вас, это ясно. А Высоцк, например, не входил в задание?

С минуту Хиггинс смотрел в тень, туда, где был Курбатов, ничего не видящими,

остекляневшими глазами, а потом сказал глухо, устало, будто выдавливая из себя слова: — Хорошо. Пишите, я всё расскажу.

Курбатов взглянул на Яроша, и тот усмехнулся.

У Хиггинса отвисла, как всегда случалось с ним при крайнем волнении, нижняя челюсть, смотреть на него было еще более мерзко, весь он напоминал размякшую, серую медузу.

— Хорошо, — снова повторил он, соглашаясь. — Держите здесь или где угодно, мне хочется дожить до того дня, когда всё это кончится. Кто-нибудь да сломает же себе шею, я хочу посмотреть — кто?

— Говорите! — резко перебил его Курбатов.

— Да... Задание было. Одно на «Электрик», вы это уже знаете, у Найта там кто-то есть, я не знаю. Другое — в Высоцк, на комбинат... Хотя ведь это вы тоже знаете не хуже меня... Задание — портить турбины. Больше я не могу сказать ничего. В конце концов, я прибыл сюда передать задания.

Когда Хиггинса увели, майор зажег в кабинете верхний свет и облегченно вздохнул. Ему было приятно, что в комнате стало светло, — светлей стало и на душе.

Но тут у него возник другой вопрос, и он задал его Ярошу. Найдт не один. Поедет ли он в Высоцк сам или пошлет кого-нибудь из своих? Что ж, поедем в Высоцк. Попржнему волновал его сейчас и «Электрик»: там оставался нераскрытым еще один человек. Курбатов позвонил генералу и попросил разрешения зайти. Да, есть кое-что новое. Генерал ответил:

— Хорошо, я вас жду.

Вернувшись от генерала, Курбатов написал на листке блокнота несколько слов Брянцеву:

«Я уехал в Высоцк. Буду звонить завтра утром; возможно, понадобится твоя помощь».

Он вырвал этот листок и прикрыл им чернильницу так, чтобы записка была заметней. «Брянцев найдет ее сразу, он знает мою привычку не оставлять на столе бумагу».

2

Курбатов не ошибся: Найт решил возможно быстрее сделать свое дело, а там — за границу.

Он думал об этом в поезде. Виктор Осипович дремал напротив, и со стороны казалось, что они вовсе не знакомы друг с другом. Найт с неприязнью рассматривал лицо своего спутника. Вдруг он подумал: «Не стоит самому идти на это дело, пусть, в случае чего, арестуют не меня, а этого».

Временами ему казалось, что он сходит с ума, и с тревогой он прислушивался, не появляются ли у него какие-нибудь больные, нескладные мысли. Он ощущал, что куда-то катится, и там, в конце пути, его ждет что-то страшное, темное, какая-то вязкая тина. Он упадет туда, и тина засосет его, поглотит целиком, и никто не сможет помочь. Он вздрагивал всем телом, пытался думать о чем-нибудь другом. Наконец, у него вдруг возникла

удивительно ясная мысль: «Всё кончится плохо. Нет, я не пойду с этим... Обратно, спрятаться, а так я действительно сойду с ума».

Они вышли на станции в Высоцке. Остановиться в гостинице значило быть на людях. Несколько часов прошло в поисках подходящего жилья. Наконец, на окраине города, у одинокой женщины, сторожихи какого-то склада, они сняли комнатёнку. Затем Найт и Виктор Осипович пошли посмотреть город, прикинуть, что к чему, и договорились встретиться в своем новом жилье к вечеру.

Три дня прошло в этом «прикидывании». Многочисленные объявления в городе сообщали, что комбинату требуются рабочие всех специальностей. От первой до последней строчки прочитывая газету, Найт узнавал, как идет постройка второй турбины. В городе только и говорили о ней — в скверах, в кино перед сеансом, всюду, где Найт прислушивался к разговорам, — о ней толковали радостно и спокойно. Откуда у них такое спокойствие? — спрашивал себя Найт, и не находил ответа. Потом он издевался над собой: какое тебе дело до этой психологии, чем меньше ее — тем лучше. Посмотрим, как они будут хранить свое спокойствие, когда с турбиной что-нибудь случится. Он был уверен в успехе, он убедил себя в том, что успех ему обеспечен. «Они слишком привыкли к миру, — думал Найт, — надо напомнить им, что на свете существуем мы». Он глядел на дома, на лица, на башни доменных печей и — смеялся. «Этого ничего не должно быть. Здесь всё по-

растет травой. И волки будут бегать по улицам».

Работа над турбиной подходила к концу, и Виктор Осипович разузнал, что уже заказаны платформы для ее перевозки. Мысленно Найт видел эти платформы под откосом. Но чем дальше шло время, тем сильнее поднималось у Найта обратное чувство: уехать, пусть всё будет сделано без него!

Третий день жизни в Высоцке подходил к концу, а Найт всё еще не имел твердого плана действий, — он даже не смог встретиться с инженером Тищенко. Помог случай. Однажды, пробродив бесцельно по городу, Найт подошел к длинному желтому зданию фабрики-кухни возле входа в комбинат, взглянул на часы и решил пообедать. Здесь он очутился впервые. В залах было пусто, официантки пододвигали стулья и расставляли на столах хлеб. Не успел Найт сесть, как за окнами поплыл гудок, растекся в воздухе, и несколько минут спустя в зал вошли первые посетители — рабочие. Их становилось всё больше и больше, пришедшие первыми занимали места поближе к распахнутым настежь окнам. Здесь у них уже были и свои излюбленные столики, и знакомые официантки, и рассаживались они со смехом, шумно, по-хозяйски. Когда им принесли суп, в зал вошли еще несколько человек — мужчины в пиджаках, женщины в светлых летних платьях — и остановились, ища глазами свооодные места.

— Опаздываете, интеллигенция! — задорно крикнул паренек, сидевший неподалеку от Найта. Те улыбнулись: видно, шутка была

обычной, и они тоже привыкли к ней, как привыкли приходить последними и искать места. «Конторщики, служащие», — отметил про себя Найт. У него за столиком оказалось два свободных места, и две женщины сели рядом. Несколько человек всё еще ходили по залу, сопровождаемые шутками и отшучиваясь. До Найта долетели отрывки слов:

— Пока ваш цех пройдешь...

— А вы наперегонки...

— Мы народ пожилой, степенный...

Очевидно, это слышали и женщины за столиком, где сидел Найт, — они рассмеялись, взглянув друг на друга. Найт тоже улыбнулся, поглядывая на них.

— В самом деле, почему вы опаздываете? — спросил он. — Казалось бы, вам-то скорее собраться...

— Какое там, — откликнулась одна из них, взбивая сзади волосы. — В заводоуправлении ремонт, наша дверь закрыта, так пока через литейный цех пройдешь — ужас один сколько времени...

— Вы в бухгалтерии работаете?

— Нет, в расчетном отделе, — был ответ.

Обе женщины снова склонились над меню, когда подошла официантка. Найт тут же расплатился за обед. Он ликовал. Да, это удача! Казалось бы, мелочь: работники расчетного отдела ходят через литейный цех. Мелочь, но как ловко он выудил ее. Теперь он знал, что ему — вернее, Виктору Осиповичу — надо делать. Он возвращался в свою комнатку почти бегом. По пути он с удовольствием еще раз

пробежал глазами афиши: да, комбинату требуются работники в расчетный отдел.

Теперь надо отыскать Тищенко.

В небольшой буфет в городском парке, в длинное фанерное сооружение, где стояло шесть или семь столиков, вошел мужчина — мрачноватый, чем-то, очевидно, недовольный, и сел подальше от окна, словно ему не хотелось видеть деревья, детей, играющих вдалеке возле озера, тенистые посыпанные песком аллеи. Буфетчику он заказал триста граммов водки и две бутылки пива.

Сегодня на производственном совещании инженера Тищенко раскритиковали так, что он только краснел. Попало за дело: сменный мастер не смог обеспечить³ всех всем необходимым для скоростной плавки. Там, на собрании, он выслушал всё и как будто принял критику, а теперь искал оправданий, искал и находил, что не он один виноват, а и тот и этот, и пятый и десятый. Было обидно, что нагорело ему одному, а те остались в стороне. Теперь пойдет: в многотиражке критическая корреспонденция — «Инженер Тищенко не справился со своими обязанностями», потом вызовут в партком к Рогову — «еще один нагоняй, хоть я и беспартийный», потом... Словом, лучше выпить и не думать о том, что впереди.

Он выпил, с трудом преодолевая спазму, сдавившую горло, отдышался, налил еще стопку. От водки с пивом его быстро развезло, стало душно, и он оглянулся — нет ли места

у открытого окна. Место было, — там сидел какой-то гражданин и тоже пил водку.

Тищенко подошел к столику и, крепко держась за спинку стула, хрипло спросил:

— Не протестуете?

— Садитесь, садитесь, — кивнул тот.

Тищенко допил свою водку и заказал еще. Сосед покачал головой:

— Слушайте, а не много вам будет, а? Не переберете часом?

— Ничего, — махнул рукой Тищенко. — Не такое случалось.

Он прихвастнул: пил он неумело, но теперь решил не отступать.

— Что я здесь делаю, как вы думаете? — говорил он. — Я доказываю свое «я». В конце концов, имею же я право забыть суету сует... Кто я такой — вы знаете?

— Нет, незнакомы вроде, — сосед закусил колбасой. — Разрешите чокнуться?

— Чокнемся!

Выпили. Снова закусили. Похрустели соленым огурчиком. Тищенко качал головой, крепко упираясь локтями в стол:

— Я, брат ты мой, сменный мастер. Ну, провинился, бывает, а почему меня одного ругать, а? Так и живем, водочку пьем.

— Да, жизнь! — поддакнул сосед.

Тищенко долго и скучно рассказывал, как ему сегодня попало, как год назад он разошелся с женой.

— Так сходите, — посоветовал сосед. — Я вот с женой тоже как кошка с собакой первое время жил, а потом попривыкли друг к

другу, начали уступать, и, глядишь, веселей стало.

Тищенко пошарил в карманах: больше денег не было, а выпить хотелось еще, и он выругался. Сосед понял его:

— Что, еще хотите? Хватит, ей-богу хватит. Я тоже воробей стреляный, вижу... В самой вы норме...

— Ну да, в норме!..

— Вот выпейте со мной, если хотите. Да ничего, не стесняйтесь, я человек простой, рабочий, со мной этих «мерси» не надо... Ваше здоровье!

Что было потом, Тищенко помнил плохо. Новый знакомый взял еще пол-литра, а после, кажется, он же и доставил его до дверей дома. На прощание Тищенко, качаясь, нацарапал на листке бумажки свой телефон.

— Я тебя... — бормотал он, — я тебя еще... поблагодарю... Мы с тобой... мы с тобой в ресторан пойдем. Вот пятнадцатого получу зарплату и пойдем, а? Звони — и пойдем, а?

Наутро он мучился головной болью.

Пятнадцатого вечером Тищенко позвонили на работу. Он долго не мог понять, с кем разговаривает, потом вспомнил, покраснел и фальшиво протянул:

— А-а, это вы! Узнал, узнал. Где же мы с вами встретимся?

Ему очень не хотелось идти, но надо же было отблагодарить товарища.

В ресторане они посидели недолго и пили не много, но зато самый дорогой коньяк. Официант принес счет, — оказалось, что-то около восьмидесяти рублей.

Тищенко хотел было расплатиться, но внезапно почувствовал, как кровь отхлынула у него от лица и сразу онемели губы.

— Слушайте, — прошептал он. — Меня обокрали: Всю получку. В трамвае, наверно...

Официант неподвижно стоял у столика и ждал...

Служебного пропуска у Тищенко тоже не оказалось, его, надо полагать, выкрали вместе с бумажником. Он оставил официанту паспорт, пообещав сегодня или завтра утром занести деньги. На улицу он вышел сам не свой, но хмель с него как рукой сняло.

— Сейчас никого из знакомых нет дома, денег не занять... Вы простите меня, что всё так вышло.

— Да ради бога. И у меня, как на грех, денег нет.

Тищенко стал прощаться.

— А сами-то как две недели жить будете? — спросил новый знакомый.

— Ну, обращаюсь в кассу взаимопомощи, выкручусь как-нибудь.

— Вот что, у меня здесь неподалеку теща живет, из деревни приехала, дом там продала. У нее деньжишки водятся, она, может, одолжит. Сходим? Попытка не пытка.

И Тищенко согласился.

Они дошли, и знакомый, усмехнувшись, сказал:

— Вы подождите меня здесь, я — мигом. А то характер у моей тещи...

Он вошел в подъезд, а Тищенко ходил возле дома, сжимая от бессильной досады кула-

ки. Верно говорят, — беда никогда не приходит одна.

Минут через пять новый знакомый вышел. Он казался смущенным.

— Понимаете, не дает... Говорит, откуда я знаю вас, мало ли какого ты пьяницу приведешь, а потом ищи ветра в поле.

— Ну, я тогда пойду...

— Она, понимаете, расписку просит... Чёртова баба!

— Расписку? Ну, я могу дать расписку. Через месяц верну все деньги.

Тут же, на улице под фонарем, он написал на листке из записной книжки несколько слов, спросил, как тещина фамилия и инициалы, и расписался. Знакомый ушел и вернулся уже с деньгами.

— А в милицию вы всё-таки сообщите о пропаже, — посоветовал знакомый. — Всё-таки воровство, да к тому же — служебный пропуск...

На этом они и расстались.

Найт полагал, что теперь завербовать Тищенко будет нетрудно.

А Виктор Осипович приносил первые новости. В расчетный отдел действительно надо было ходить через литейный цех, причем иногда — в обеденный перерыв и в пять, после работы, — в цехе почти никого не было. Проходить можно было возле опок, от которых поднимался легкий сиреневый дым. Турбину Виктор Осипович видел. Ему еще неясно было, что задумал Найт, а тот в открытую

потешался над недогадливостью и скудоумием своего подчиненного.

Вечером Найт предложил ему прогуляться. На берегу пруда, лениво развалившись на теплой, пряно пахнущей траве, Найт спросил как бы невзначай:

— Как у вас с желудком? Катарр, язва, например...

— Нет, нет, — испуганно отозвался Виктор Осипович.

— Ну, считайте, что есть... с этого часа. Будете носить на работу порошки, сделайте сами из муки с сахаром, что ли... И каждый день приносите на работу бутылку эссенуков, номер семнадцатый. Приучите своих сослуживцев к тому, что, идя на обед, задерживаетесь, чтобы пить свои эссенуки. Когда приступают к отливке новой турбины?

— Не знаю.

— Ну, не важно пока. Вы меня поняли?

Виктор Осипович покачал головой, — он не улавливал связи между мнимой язвой желудка и новой турбиной. Найт казался ему то сумасшедшим, то дьяволом во плоти с его недоступной человеческому разуму бесовской хитростью.

— Вы всё-таки не разведчик, — тихо сказал Найт.

С минуту он смотрел на небо, заложив руки за голову, будто бы наслаждаясь отдыхом.

— Полстакана жидкости в опоку с остывающей сталью... Разве это вам не ясно? — И зажмурил глаза, словно желая кончить неприятный разговор с подчиненным, который

обязан понимать начальство с полуслова. Это был старый прием: сталь, в которую попала вода, начнет крошиться при обработке.

Найт не знал, что именно сейчас, в этот момент, Курбатов проверял в отделе кадров списки людей, поступивших на комбинат в последние дни. Трудно было в чем-либо заподозрить шестидесятилетнего пенсионера-вахтера, или троих девушек, окончивших ремесленное училище, или нового начальника инструментального цеха, переведенного сюда с одного из уральских заводов-гигантов. Внимание привлек рабочий литейщик. Литейный цех — это центр комбината, его краеугольный камень, и здесь надо приглядеться внимательней. Курбатов записал фамилию нового литейщика и, возвращая секретарю отдела кадров учетные карточки, спросил:

— Это все?

Она кивнула. Она не знала, что есть еще одна учетная карточка, которая оформлялась в эту минуту, и что, быть может, она заинтересовала бы Курбатова больше.

Нового литейщика Курбатов увидел сначала издалека: тот стоял возле печки, опустив темные очки и разглядывая кипящий металл через лётку. Наступило время литья, — в цехе это всегда самые оживленные минуты. Новичок работал четко. Курбатов слышал, как техник Морозов, отошедший в сторону с мастером, вытирая платком вспотевшее лицо, сказал с довольным видом:

— Значит, говоришь, нашего полку прибыло?

А Виктор Осипович приносил на работу эссендуки и, скрывая отвращение, два раза в день пил горько-соленую, неприятно пахнущую воду.

— Хотите? — любезно предлагал он сотрудникам. — Прелесть.

Одна из женщин попробовала и скорчила гримасу.

— А между тем, — с равнодушной назидательностью заметил Виктор Осипович, — очень полезная вещь.

И выпил еще полстакана.

Сотрудники, глядя на его сухое, тощее лицо с резкими морщинами, идущими от кончиков рта к подбородку, уверились в том, что у него нелады со здоровьем. Никто даже не оборачивался, когда по гудку, возвещавшему перерыв, Виктор Осипович доставал свою бутылку, торжественно наливал в стакан и разглядывал на свет пузырящуюся жидкость. Он уходил из отдела последним.

3

Между тем Найт решил, что время для решительного разговора с Тищенко пришло. Не в многотиражке, а в городской газете появилась большая критическая статья, где резко говорилось о недостатках на комбинате и в качестве примера приводился срыв скоростной плавки по вине сменного мастера Тищенко.

Найт позвонил Тищенко; тот был дома. «Да, да, заходите, деньги у меня есть, премию дали за прошлый квартал». Найт поехал к нему.

Когда Найт вошел в комнату и, не дожи-

даясь приглашения, сел, Тищенко не без удивления взглянул на него. С этим новым знакомым у Тищенко были связаны воспоминания не ахти какие приятные, и он хотел вообще прекратить знакомство. Поэтому он сразу же протянул деньги.

Но Найдт отвел руку:

— Не надо. Садитесь, поговорим. Вы случайно не припомните, как три года назад приезжали на завод «Электрик»?

— Помню, конечно.

— А может, вспомните, как в частной беседе рассказали некоторые подробности об исследованиях в области блиндированной стали?

— Я не понимаю вас, — нахмурился Тищенко; у него дрогнули кончики губ, и Найдт с удовольствием отметил: помнит!

— Так я это к тому говорю, что разведка... ну, как пишут, одного иностранного государства — была очень довольна этими сведениями. Теперь вы поняли меня? — Заметив, что у Тищенко сжались кулаки и он приподнялся со стула, Найдт коротко бросил ему: — Сидите спокойно, иначе... — и он выразительно хлопнул себя по заднему карману брюк.

Тищенко, очевидно, испугался угрозы и сел обратно; лицо у него было именно такое, какое хотел видеть Найдт, — лиловое лицо и испуганные, расширенные глаза.

— Вам, — так же ровно, словно то, что он говорил, было заучено наизусть, продолжал Найдт, — вам после всех ваших передрыг, мне кажется, не особенно приятно будет, если на работе узнают об этом. Так же неприятно

будет вам, если в одно уважаемое учреждение придет ваша расписка в получении пятисот рублей — отнюдь не от моей тещи... Ну, и затем ваш служебный пропуск, который вы передали мне для прохода на завод. Кажется, перспектива ясная?

— Что... что вам нужно от меня? — еле прошептал Тищенко. — Я...

— В деньгах недостатка не будет, — вскользь заметил Найт. — Вот вам еще пятисот рублей.

— Вы... вы...

— Выбирайте, — пожал плечами Найт. — Но учтите всё-таки: за то, что вы уже сделали, вас по головке не погладят.

Тищенко сразу же обмяк, у него недолго хватило сил сопротивляться. Найт поднялся:

— Как видите, я ничего не прошу от вас, ничего не требую, кроме... На днях начнется плавка для третьей турбины. Постарайтесь изменить рецептуру стали, это в ваших возможностях и... интересах. Вы психнули меня?

Тищенко смотрел на него невидящими глазами, — Найту пришлось повторить вопрос.

— Да, — выдохнул Тищенко.

— И вот что еще: у нас соглашение джентльменское. Я не требую от вас никаких расписок, никаких знаков... солидарности. Всё остается между вами и мной. Когда я буду убежден в том, что вы эту мою просьбу выполнили, я возвращу вам вашу расписку о деньгах и служебный пропуск.

Уже подходя к двери, он снова обернулся:

— Кстати, не вздумайте делать глупостей. Меня схватить невозможно, а я, к тому же,

не один... Да глядите вы веселей, ей-богу ничего страшного не происходит.

Найт вышел на улицу; были сумерки, но фонари еще не зажглись, и улица освещалась только тем светом, который лился из настежь открытых окон домов. Он дошел до угла дома. Здесь был разбит сквер, и Найт, почувствовав, как его всё-таки измотала эта беседа, сел на скамейку. «Впрочем, — думал он попрежнему о Тищенко, — если он не выбросится сейчас из окна, не повесится на собственных помочах, то, значит, он запутался основательно. Посижу, подожду на всякий случай, благо вечер хорош, и я один».

Найт чуть не пропустил Тищенко, задумавшись. Тот прошел быстро, слишком быстро, чтобы заметить Найта, сидевшего на скамейке. Тогда, отбросив папиросу, Найт вскочил и пошел следом.

Когда Найт увидел, как Тищенко свернул в один подъезд и как за ним хлопнула дверь, когда Найт поровнялся с этим подъездом и прочел, что было написано на стеклянной доске у входа, он быстро зашагал прочь, словно сейчас, сразу же, оттуда могли выйти люди, уже ищущие его.

А тут еще разом зажглись фонари, и стало светло, как днем, и Найту казалось, что встречаемые прохожие подозрительно оглядываются. Он свернул в темный переулок и стал пробираться к своему жилью, держась темноты. Надо убираться из Высоцка.

А Виктор Осипович?.. Что ж, его могут поймать, а могут и не поймать. Чёрт с ним, — он смертник, Найт даже не задумывался о его

судьбе. Пропадет так пропадет, деньги за него получит он — Найт. У него была нехитрая философия: на других плевать, лишь бы мне уцелеть.

Он никуда не выходил два дня. Наконец, Виктор Осипович, так ничего и не узнавший о провале вербовки, сказал Найту:

— Завтра состоится плавка для новой турбины.

В литейном цехе на полу возились формовщики, шуршали чертежами, издали было смешно на них глядеть: будто взрослые, уподобившись ребятишкам, играют в песочек. Когда Виктор Осипович передал результаты своих наблюдений Найту, тот вздрогнул и заметно побледнел.

— Что отливают сначала? — спросил он.

— Лопасты турбины, — ответил Виктор Осипович.

— А потом?

— Не знаю.

— Начинайте с лопасти, — приказал Найт.

Осторожность подсказывала ему подождать, когда начнется отливка цилиндра, но теперь, когда вербовка Тищенко провалилась, надо было спешить. Может быть, Виктор Осипович и не доживет до второй отливки: лучше воробей в руки, чем сокол в небе. Не представляя толком, что значит одна испорченная лопасть, он знал одно: это затормозит постройку турбины, — и этого было для него достаточно.

Когда Виктор Осипович уходил на работу, Найт не мог найти себе места и нервничал еще больше. Обычно к пяти он шел к комбинату и

издали следил, — идет ли Виктор Осипович. Когда тот показывался, Найт шел за ним в отдалении. Ему надо было убедиться, что сообщник еще не обнаружил себя, и, стало быть, сам он, Найт, может пока считать себя в относительной безопасности. Но теперь Найт не мог больше так поступать. Ясно, его уже ищут по городу.

А Курбатов, еще до встречи с Тищенко узнав в отделе кадров, что новый работник расчетного отдела прибыл в Высоцк из города, где начались поиски, — задумался. Правда, данные о приезде не вызвали особых подозрений. Он служил в Гормашснабсбыте, имел благодарности и премии. Документы, впрочем, могли быть поддельными. Курбатов навел по телефону справки: нет, этот человек действительно работал в городской конторе машсбыта и уволился по собственному желанию. Курбатов спросил: когда он уволился? Ему назвали число. Что ж, просто совпадением могло быть, что он ушел с прежней работы через день после того как был арестован Хиггинс. Брянцев, наводивший справки непосредственно в машсбыте, добавил Курбатову свои личные впечатления: «Мне показалось, что это увольнение было для всех неожиданностью. Вообще, говорят, работник он исполнительный».

Но всё это ровным счетом ничего не давало Курбатову. Ложась спать в номере гостиницы, он заставлял себя прочитать перед сном хотя бы десять страниц (плохая привычка читать лежа сохранилась у него с детства, несмотря на все усилия матери-учительницы искоренить ее), но ему не читалось.

Ночью его поднял с постели телефонный звонок:

— Товарищ майор? С вами говорит полковник Усвет. Есть интересная новость, прошу прибыть немедленно. Да, я уже выслал машину за вами.

Тищенко повторил свой рассказ и Курбатову, не скрыв ничего. Он сидел растерянный, бледный, и всё-таки смотрел прямо в глаза Курбатову.

— А кому вы говорили про блиндированную сталь? — спросил Курбатов.

— Я этого не могу вспомнить. Были какие-то инженеры, чужих не было.

— Ну, один чужой всё-таки был, — заметил Курбатов. — Да, наломали вы дров. Словом, придется вам притворяться, товарищ Тищенко. Сделайте вид, что согласны. А мы будем следить дальше. Можете быть свободны, подпишите у секретаря пропуск.

Когда Тищенко встал, Курбатов протянул ему руку. Потом майор начал звонить Брянцеву; тот был дома. Курбатов услышал сонный голос:

— Что, кто говорит, кого вам нужно?

— Здравствуйте, товарищ лейтенант, — весело сказал Курбатов. — Какие сны смотрим? — Он послушал, что говорит Брянцев, а потом, сразу став серьезным, приказал: — Товарищ Брянцев, завтра же с утра раздобудьте на «Электрике» фотографии всех итээровцев и как можно скорее приезжайте сюда сами. Всё поняли? Ну вот, а теперь — спокойной ночи. Да не подумайте утром, что вам этот разговор приснился, — снова пошутил он.

Через несколько дней в токарном цехе началась обработка лопастей. Курбатов несколько раз звонил в разные города, на разные предприятия, наводил справки о тех, кто за эти дни впервые переступил ворота комбината. Блокнот был уже исписан, а того, что он ждал, всё еще не было. Перелистывая странички, он сознавался себе в том, что по-настоящему его всё еще интересуют только один рабочий литейщик да работник расчетного отдела. Конечно, это не сам Найт, вряд ли он стал бы рисковать теперь так. Но где враг (не Найт, а другой, еще неизвестный) может больше навредить — в расчетном отделе или в литейном цехе? Конечно, в литейном. В расчетном отделе малейшая путаница в цифрах, малейшая ошибка будет замечена моментально, там один и тот же документ проходит десятки рук. Враг, опытный и ловкий, не станет рисковать так бездумно ради того, чтобы на сутки позже было доставлено сырье или отправлены изделия заказчику. Значит, надо оставить расчетный отдел в покое. Но и этот вывод не успокаивал Курбатова.

Не успокаивал он его потому, что молодой литейщик, как это удалось выяснить, приехал сюда из Кузбасса. Там же кончил курсы, работал полтора года, и неплохо. Мысленно Курбатов спрашивал сам себя: зачем его, будь он враг, понадобилось бы перебрасывать сюда? Там, в Кузбассе, он уже зарекомендовал себя как отличный производитель, сжился с коллективом. Да, если он враг, его там и оставили бы, конечно...

У Найта есть определенное задание —

диверсия; это подтвердил и Хиггинс на допросе, это рассказал и Тищенко. Новый работник расчетного отдела прибыл из того города, где начались розыски: это уже настораживало. Но какая связь между диверсией и расчетным отделом? Там, в лучшем случае, можно вести только экономическую разведку, и то в узких рамках...

Курбатов и Рогов — парторг ЦК партии на комбинате — обходили цехи, майор интересовался всем, что на первый взгляд не имело прямого отношения к его мыслям. А мыслями он всё время возвращался к литейному цеху.

Так, зайдя с Роговым туда, он подробно познакомился с расположением цеха, Рогов не успевал отвечать на вопросы Курбатова. Потом удивился:

— Да вы же задаете вопросы как специалист!

Курбатов только улыбнулся в ответ.

В углу цеха Курбатов заметил узенькую винтовую лестницу, ведущую наверх, и спросил:

— А там что?

— Там? Расчетный отдел, — равнодушно ответил Рогов. — Смотрите, дают плавку.

А Курбатов словно не видел ни плавки, ни Рогова. Жмурясь от нестерпимо яркого света расплавленного металла, он быстро обдумывал то небольшое открытие, которое ему удалось сделать. Ход его мысли был прост: если враг работает в расчетном отделе, то какая ему может быть выгода от близости литейного цеха?

— Скажите, — спросил он у Рогова, — а другой ход из отдела есть?

Рогов не сразу расслышал, о чем его спрашивают, а потом отрицательно покачал головой: пока нет, закрыт из-за ремонта.

В цехе потемнело: плавка окончилась, печь загружали вновь. Время подходило к обеденному перерыву, и рабочие, вытирая с лица пот, уже собирались уходить.

— Сейчас все уйдут из цеха? — спросил Курбатов.

— Да, — Рогов взглянул на часы. — Плавку дали секунда в секунду.

— А кто же будет следить за ходом плавки?

Рогов кивнул куда-то в сторону, улыбнулся:

— Сколько я вас понял, вы когда-то сами занимались сталеварением. Так ведь? Ну вот, а с тех пор многое изменилось. — Он говорил с нескрываемой гордостью. — У нас зоркие глаза есть: механизмы в лаборатории.

Прогудел гудок, смена ушла на обед. По железной лестнице загрохотали шаги: шли служащие. И когда прошли они, исчезли за широко раскрытыми дверьми цеха. — быстро вслед за ними прошагал тощий мужчина в сатиновых нарукавниках.

Курбатов видел его фотографию. Это был новый работник. Он прошел, не заметив ни его, ни Рогова, прошел по пустому цеху, чуть повернув голову влево, к зияющим отверстиям отводных труб... И Курбатов, еще не имея никаких оснований делать выводы, отметил этот поворот головы, не ускользнувший от его внимания.

— Вы познакомились с новым литейщи-

ком? — спросил он Рогова. — Молодой такой парнишка из Кузбасса.

— А-а, да, конечно...

— А с этим, вот прошел сейчас, из расчетного отдела?

— Нет, еще не успел.

— У меня будет просьба к администрации, и вы поддержите ее. Нужно было бы нового литейщика перевести временно... ну, хотя бы на курсы повышения квалификации с отрывом от производства, а за цехом...

Он не договорил, но он чувствовал, что начальство его поддержит: здесь необходимо установить надзор. Диверсию допустить нельзя, она дорого обойдется... И, проходя к выходу, Курбатов сам взглянул влево: горловины труб охлаждения — как близко они были!

4

На «Электрике» жизнь шла своим чередом. Закончилась работа над созданием парогидравлических прессов, и Катя была переведена в бюро генераторов. Она была рада этому: в связи с выпуском новых генераторов работы здесь было более чем достаточно. Руководил работой бюро один академик; на заводе он бывал два раза в неделю, а теперь совсем перестал приезжать, — заболел, слег, а после поправки уехал в отпуск на Кавказ. Директор вызвал к себе Катю и предложил ей занять место ведущего конструктора, иными словами — по мере сил и способностей постараться выполнять то, чем обычно занимался сам академик. Катя смутилась. Директор с улыбкой

протянул ей на прощание руку и сказал как можно более ободряюще:

— Говорят, что и академик в свое время был просто инженером. Больше уверенности, Катюша! Не боги горшки-то обжигают.

Когда она выходила, директор окликнул ее:

— Учтите только, Екатерина Павловна: чертежи статора, штампов, литья и поковок вы должны сдать в производство через полторы недели!

Катя кивнула и ушла. Себе она взяла, пожалуй, самое трудное — статор, и когда отрывалась от чертежной доски, у нее в глазах так и прыгала штриховая сетка. Однако она успевала и проектировать сама и, проходя между чертежных досок, разрешать вопросы, которые возникали подчас у конструкторов.

Однако дня через четыре Катя поняла, что задание директора — сдать рабочие чертежи через десять дней — бюро, пожалуй, не выполнит. И не потому, что не было опытных конструкторов. При разработке технологии столкнулись с серьезными трудностями. Сам же директор уехал в Москву на заседание коллегии министерства. Он позвонил оттуда по телефону:

— Что? Продлить срок? Так учтите, что министерство срезало еще два дня.

В тот же день в бюро вошел Козюкин и, весело оглядев конструкторов, развел руками:

— Когда я шел по двору, мне показалось, у вас из окон пар валит.

— Вы и не ошиблись.

— Знаю, всё знаю, Екатерина Павловна, и пришел помогать. Ну, что у вас?..

После гудка в бюро остались Катя и Козюкин. Козюкин сидел за чертежным столиком, скинув пиджак и расстегнув воротник рубашки: он что-то чертил, писал, а потом, как художник, отходил в сторону и любовался издалека. Катя так и сказала ему:

— Вы — как художник.

— Ничего удивительного нет, Екатерина Павловна, — ответил Козюкин. — У нас то же творчество, но творчество точное. Всё ясно и понятно. Я вот, например, не понимаю американской живописи, а чертежи американские понимаю. Да я думаю, какой-нибудь инженер-папуас, если таковой имеется, великолепно поймет мои чертежи.

— Значит, творчество у нас, наше с вами творчество, космополитическое?

Козюкин взглянул на нее — и рассмеялся:

— Ну вот, уже и ярлык готов, повесили... Нет, я просто хочу сказать, что наука не имеет границ. Я говорю о границах государственных.

Кате не хотелось сейчас ни говорить, ни, тем более, спорить. Она только сказала: «А я думаю иначе», — и снова взялась за рейсфедер. Но спорить хотел Козюкин. Он подошел к Кате и ласково, мягко взял ее руку:

— Вы заразились демагогией, Катюша милая. Это перегиб, какие у нас, к сожалению, еще допускаются. Что такое, в конце концов, приоритет? Да мне ровным счетом плевать, кто изобрел паровую машину, радио, электрическую лампочку, атомную бомбу. Когда я еду в поезде, я думаю о том, что паровоз — это гениальное изобретение и что мне удобно так ехать. Когда я читаю, я доволен, что суще-

ствует лампочка. И то же самое чувствует и француз, и швед, и поляк, и американец. Наука не космополитична, она всемирна. А то получается, как у Бобчинского и Добчинского: спорят, кто первый сказал «э!». Смешно и глупо. Я думаю так.

Катя освободила свою руку, и Козюкин отпустил ее нехотя. Она мельком взглянула на него; ее поразили взгляд Козюкина, зеленые глаза, подернутые мутной, маслянистой пленой.

— А мне не всё равно, — качнула она головой. — А я, например, хочу, чтобы француз, зажигая свет, знал, что лампочка изобретена не американцем, а русским, что радио — изобретение не итальянское, а русское, и паровая машина — создание величайшего русского гения. Дело-то не в том, кто первый сказал «э», а в том, что нас считали до сих пор темными невеждами, а эти «невсжды» обгоняли Запад вон еще когда!

— Вы словно на митинг пришли, Катюша, — поморщился Козюкин. — Не будем больше об этом. Вы устали, вам отдохнуть надо...

Он осторожно притянул ее к себе. Катя слышала над собой порывистое, горячее дыхание и совсем близко, почти перед глазами, увидела лицо Козюкина. Она ударила его по руке, вырвалась.

— Вы... вы... вы с ума сошли? — задыхалась она.

Козюкин уже не глядел на нее; морщась, он поправил сбившиеся волосы:

— Простите меня... Я сам не знаю, как

это... Вы так покраснелись, были так хороши...

Катя, чуть не плача от обиды, схватила сумочку и выбежала в коридор.

Утром кто-то из конструкторов позвал Катю к чертежам, лежавшим в общей папке.

— Вы просматривали это, Екатерина Павловна?

— Нет, еще не успела.

— Судя по всему, это делал Козюкин. Очень смело, но... Я тут рассчитал. Он отошел здесь от проекта новых генераторов, утвержденного Москвой.

— Ничего не понимаю, — сказала Катя, беря карандаш.

Через час она позвонила Козюкину по телефону. Ей было очень неприятно звонить ему и вообще разговаривать с ним после того, что произошло вчера в этой комнате.

Голос у Козюкина был недовольный. Он, конечно, сердился, что его подняли в неурочный час, но, услышав, что это звонит Воронова, сменил гнев на милость.

— Да, да, Екатерина Павловна, дорогая, я вас слушаю, — отозвался он.

То ли потому, что это «дорогая» показалось Кате таким же пошловатым, как и весь тон Козюкина, то ли потому, что ей совсем не хотелось звонить, — она разговаривала с ним подчеркнуто сухо.

— Вы изменили расчет статора? — спрашивала Катя. — В первоначальном и утвержденном плане ничего подобного не было.

— Да, изменил. Всѣ движется, Екатерина Павловна, течет и меняется. Это еще древние греки говорили.

— А зачем вам понадобились эти изменения? Так мы задержим чертежи еще дня на три.

Козюкин объяснял ей терпеливо, мягко, как неразумной, взбалмошной девочке:

— Изменения эти понадобились не мне, а государству. Небольшие изменения конструкции — и мощность генератора возрастает. Разве вы сами не поняли этого? С моими поправками согласятся. Погодите, я сейчас приду сам.

Катя вернулась к козюкинским расчетам. Но сколько ни сидела она над ними, как ни пыталась постичь замысел инженера — это ей не удавалось. В который раз она начинала писать на отдельном листке бумаги формулы, набрасывать схемы — и всякий раз непременно приходила к тому, что увеличить напряжение генератора невозможно. Неужели Козюкин ошибся!

Едва вошел Козюкин, в комнате запахло крепкими духами. Он, вежливо раскланявшись, подошел к Катиному столу, встал сзади и, нагнувшись, упираясь одной рукой в край стола, через плечо Кати смотрел на свои чертежи:

— Что ж вам неясно?

— Вот взгляните, мы тут проверили. При вашем варианте мощность генератора не увеличивается.

— Но остается прежней? — улыбнулся Козюкин.

— Да, и только. Зачем же нам вносить эти поправки, ждать, пока их утвердит техсовет, терять зря время.

— А мы и не будем терять время. Я час назад говорил с директором, звонил ему в Москву. Он обещал созвониться с вами.

Действительно, минут через пятнадцать Катю вызвали к телефону.

— Что там у вас, нелады пошли? — кричал в трубку директор: его было плохо слышно. — Мы же давно решили, еще на прошлом техсовете, что Козюкин дает поправки.

— В этих поправках нет никакой нужды, — кричала в ответ Катя. — Это небольшие изменения, они ничего не дают...

— Да полно вам упираться-то, Екатерина Павловна, я не вижу с вашей стороны никаких принципиальных возражений. Сегодня же сдайте чертежи, а я доложу в министерстве, что генератор пошел... Вы меня поняли? Я требую от вас этого, поняли? Требую. В конце концов, Козюкин не мальчишка.

Катя, не дослушав, положила трубку. Она вошла в отдел и, ни на кого не глядя, сухо сказала:

— Готовьте чертежи к сдаче, товарищи.

Козюкин торжествующе стоял у окна, курил и, поднимая голову к потолку, смотрел, как слоями покачивается там табачный дым.

Вечером Катя пошла в больницу и по пути купила Позднышеву несколько румяных, золотистых помидоров. Июнь, а совхозы уже выпустили первую партию.

Позднышев выздоравливал. Выздоровление у него шло бурно. Как всегда бывает у жизнелюбов, врачам он обещал удрать из больницы, если они его скоро не выпишут.

— Я ведь не подопытный кролик, — жаловался он Кате, а смех, лукавый, яркий, как солнечный зайчик, так и прыгал у него в глазах. — Тем более, что у меня есть опыт моего дядюшки...

— Какой опыт?

— Медицинский. «Мой дядя самых честных правил, когда не в шутку занемог», — а это случилось с ним лет в двадцать пять, — начал копить все лекарства, какие ему прописывались. Так вот, милая Катюша, когда ему стукнуло восемьдесят четыре, он созвал консилиум и раскрыл перед врачами два огромных шкафа — а там, представляете: микстуры, порошки, словом, всякая пакость. Мой дядя спросил врачей: «Что бы было, если бы я принял всё это в течение жизни?». Ну, врачи поглядели, покачали мудрыми плечами и говорят: дали бы дуба лет тридцать назад. Вот и лечись тут...

Да, это был уже прежний Позднышев, и если б не густые, словно наведенные синькой тени под глазами да необычная худоба — можно было бы подумать, что он выздоровел окончательно.

Катя рассказала ему все заводские новости, и казалось, Позднышев сейчас вскочит с постели и в чем есть — пижаме и шлепанцах на босу ногу — побежит через весь город на завод. Он волновался, Катя заметила это

волнение и с досадой на себя подумала: «Не надо было идти. Он еще болен».

— Я хотела, чтобы и вы проверили расчеты Козюкина. Но, может, вам трудно, Никита Кузьмич...

— Цыц! — он сделал «страшные» глаза, опять же шутя — под шуткой он скрывал волнение. — Что там, давайте, давайте, Катюша, а то придут сейчас.

И он поспешно схватил принесенные Катей листки.

Вошли врачи. Катя долго вглядывалась в одну женщину-врача — невысокого роста, с глубокими черными глазами. «Где я видела ее?» — спросила себя Катя, рассматривая ее с любопытством. У врача, как и у Кати, были большие, тяжелые косы, они не помещались под белой шапочкой и были сложены на затылке крупным узлом. «Ах да, — вспомнила Катя, — это знакомая Курбатова, как же я ее не узнала сразу. Там, когда мы ездили в Солнечные Горки, она была в легком пестром платье и казалась девушкой-студенткой, а здесь — халат, шапочка, две трубочки от фонендоскопа в кармане...»

— У вас посетители? — сказала она, не глядя на Катю. — Я просила пропускать к вам в установленное время.

— Видите ли, милый мой доктор, это исключительный случай... Понимаете, племянница уезжает надолго и...

— А на поезд ваша племянница не опаздывает?

— Нет, она летит самолетом.

Кто-то из соседей фыркнул в подушку,

а врач, пожав плечами, продолжала щупать пульс у Позднышева.

После ухода врача Позднышев разложил листки.

Он хмурился, вглядываясь в цифры, несколько раз порывался что-то сказать, но сдерживал себя. Наконец, он спросил:

— Вы что-нибудь заметили? Я спрашиваю — что-нибудь особенное?

— Да, мне кажется, что...

— Хорошо, — он устало откинулся на подушки. — Простите меня, Катюша, я хочу немного подумать... Сам...

У него на лбу проступила мелкая испарина. «Он утомлен, — подумалось Кате, — или взволнован». Она тихо встала, осторожно поправила под головой Позднышева подушку и на цыпочках вышла из палаты.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Найт уехал. Страх гнал его подальше от капкана, к которому он толкнул своего партнера. Найт уехал ночным поездом, переодевшись в новый костюм, купленный в Высоцке — щеголеватый немолодой человек с маленькими синими глазами, длинным, острым носом и словно расплюснутыми тонкими губами.

Виктор Осипович не спал всю ночь; проводив Найта, он лежал, прислушиваясь к далеким гудкам маневровых паровозов, к шуму теплого дождя под окном в лопухах, к сонным

вздохам хозяйки за стеной и тиканью часов: тик-так, тик-так... Впрочем, это не часы, это жук-точильщик... Точит дерево, хочет сточить дом: тик-так, тик-так.

Он встал и подошел к окошку. При неверном сумеречном свете пересчитал деньги, — пачку сторублевых билетов, оставленных Найтом.

Что если сейчас вот плюнуть на всё, сесть в поезд и уехать. Нет! Они, те, кто сделал эту турбину, должны еще почувствовать крепкую руку. Это называют иногда «комариным укусом». Пусть один комар вызовет только злость и раздражение, но если комаров — туча?

Глядя из окошка на небо, подернутое робкой розовой дымкой, как это всегда бывает на рассвете, он вспомнил почему-то, по какой-то далекой связи, точно такое же небо, только над Швейцарией. Он был тогда еще молод, очень молод, жизнь казалась ему полной занятых приключений. Однажды отец вошел к нему в комнату, держа перед собой газету, сказал: «Собирайся, едем в Германию. Гитлер — это наше с тобой будущее». У молодого человека голову ломило с похмелья, он ничего не понял из газетной статьи, но покорно начал собирать вещи.

Жизнь в Германии ему не понравилась; слишком шаткими были людские судьбы, чтобы быть уверенным в своей собственной. Всё-таки он выплыл из этого разгула смертей и крови. Еще за два года до войны он побывал в Чехословакии и Польше. Там началась

его карьера профессионального шпиона и диверсанта.

...Утром трамвай довез его до ворот комбината. Людской поток подхватил, понес к проходу. Попрежнему, напоминая играющих ребятишек, возились возле опоки формовщики. Как вчера, в отдел впорхнула секретарша заведующего и прощebetала свое «с добрым утром». И, как всегда, тихонько звякнул на столе машинистки тяжелый «Ундервуд».

Он шел в столовую последним, как обычно. Отдушина охлаждения над цилиндром была совсем близко, и Виктор Осипович оглянулся. В цехе было пусто. Еще раз оглянувшись, он снял с бутылки жестяную пробку и плеснул воду туда, в широкое горло трубы. Пар почему-то не поднялся, хотя Найдт предупреждал, что пар должен быть обязательно. Виктор Осипович плеснул еще, а потом, почуяв неладное, подобрал голову в плечи и быстро, испуганно пошел прочь, к выходу. Последнее, что он успел подумать: «Может быть, не та опока? Да нет, сам видел, как заливали».

Он подошел к широким дверям и едва не закричал от ужаса. В тени стоял военный в форме, заложив руки за спину и чуть расставив ноги. Неподалеку были Морозов и мастер. А за дверьми виднелись еще двое в форме. Когда они пошли к нему, он сначала дернулся всем телом, а потом прижался к стене и выставил вперед руки.

Он не расслышал, как мастер, стиснув кулаки, сказал:

— Трубу запаяли во-время... хорошо, однако... И, однако, сволочь же...

...Сразу после ареста Виктора Осиповича Курбатов, узнав, что Найта в городе нет, заторопился домой. Дело приближалось к развязке. Необходимо было посоветоваться обо всем с генералом, с полковником Ярошем и ускорить эту развязку.

Перед отъездом Курбатов вызвал к себе Тищенко и, разложив перед ним веером добрых четыре десятка фотографий, спросил:

— Может быть, вы узнаете тех, при ком рассказывали о блиндированной стали? Поглядите внимательно.

Тищенко долго перебирал фотографии, морщил лоб, чувствуя на себе выжидающий взгляд Курбатова:

— Тогда со мной было трое. Вот этот тоже был, это точно... Остальных я не могу вспомнить.

Курбатов взял фотографию. Прямо на него глядело лицо Козюкина.

— Вы вспомнили его случайно? — спросил он.

— Да, почти случайно. Меня и тогда удивил этот человек; у него есть примета... такое самодовольное выражение лица.

— Спасибо, — перебил его Курбатов. — Значит, больше вы никого не смогли узнать?

— Нет.

Курбатов долго вглядывался в Козюкина на фотографии, вызывая в памяти всё, что было связано с ним. Но нет, Курбатов ни в чем не мог обвинить этого человека. Майор сгреб со стола фотографии, сложил их в сумку и, взглянув на часы, отправился на вокзал.

Найт вернулся в город с ощущением успеха. Тяжелые мысли, преследовавшие его по пути в Высоцк, прошли, он склонен был теперь объяснять их бессонными ночами и волнениями накануне этой поездки. Иногда ему даже казалось, что волнения были напрасны, — не переборщил ли он в своей осторожности и не зря ли уехал, удастся ли без него «пятому» диверсия?

Он решил отдохнуть несколько дней, а потом уехать, — лучше всего на Дальний Восток, к границе...

Но, сойдя с поезда в городе, он почувствовал вокруг себя необычайную пустоту, она была почти осязаемой, пугающей. «Куда идти?» — спрашивал он себя. Он был один, бездомный, уставший.

Ах, да, ведь есть «жена» в Солнечных Горках! Найт вспомнил о Кисляковой и задумался, — можно ли к ней? Но мысль настойчиво возвращала его к тому, что ехать стоит, что улик он никаких не оставил, бояться нечего. Час спустя он уехал в Солнечные Горки, обдумывая, чем объяснить свое исчезновение, как, какими словами снова завоевать ее доверие, как выпросить прощение. Деньги? Да, она любит, чтобы в доме было денежно. Придется потратиться.

Кислякова сидела в палисаднике, в гамаке и, едва доставая ногами до земли, раскачивалась, читая книгу. Найт тихонько окликнул:

— Мария!

Женщина обернулась. Она не сразу узнала

его. Потом выдохнула: «Сергей!» — и соскочила с гамака, бросив туда книгу.

«Сергей? Ну да, Сергей Никодимов», — сказал себе Найт, открывая калитку.

Кислякова стояла перед ним, не зная, что ей делать — радоваться ли странному этому возвращению или строго спросить: где ты был? Но он сам притянул ее к себе и, сверху вниз заглядывая в глаза, тихо спросил:

— Ты еще любишь меня?.. Прости... Я всё тебе расскажу.

Кислякова опустила глаза; Найт заметил, что у нее на губах шевельнулась улыбка. Ну, значит, простит и, стало быть, три дня можно жить спокойно. Он быстро оглядел дом. Судя по всему, она жила попрежнему одна, но веранда, где всегда было пыльно, теперь казалась обжитой; надо думать, Кислякова намеревалась сдать ее на лето.

— Пойдем, — он повернул ее за плечи. — Пойдем, Маша...

И она пошла к дому — покорно, всё еще не поднимая глаз, и только в комнате снова взглянула на него, и Найт увидел, что она притихла от счастья. «Дура», — улыбаясь ей, подумал он, и сказал, снова притягивая ее к себе:

— Простила? Теперь всё... Теперь вместе... всегда.

— Да, — шепнула она.

Что он рассказал ей? Расскажи он, что за это время он совершил кругосветное путешествие или проходил медицинские процедуры, обеспечивающие бессмертие, — она бы поверила всему, да она и не слушала теперь, что

он ей говорит. Важно было одно: он вернулся, просит прощения, он сидит сейчас, держа ее руки в своих, и вид у него побитый, виноватый.

Она засуетилась:

— Дома нет ничего — ни вина, ни еды, я сейчас попрошу соседку сходить.

— Да, — сказал Найт, — конечно, попроси. Вот... — он вынул деньги. — Обязательно надо отметить.

— Возвращение блудного сына, — подхватила со смехом Кислякова.

— Несчастливого мужа, — грустно поправил ее Найт. — Вернее — самый счастливый день моей жизни.

Потом они сидели за столом рядом и, чюкаясь, глядели друг другу в глаза; взглядом и вином они словно бы молчаливо скрепляли согласие жить теперь всегда вместе, и Найт потешался в душе над той значительностью, с которой они пили «за будущее». Играть в счастье ему было и интересно и ничуть не утомительно, наоборот, он отдыхал сейчас в этой игре. Почувствовав, что медленно начинает пьянеть, он подвинулся к Кисляковой еще ближе и спросил:

— Ну, а ты? Что ты делала это время?

— Я? — Кислякова пожала плечами и, кокетливо склонив голову набок, рассмеялась. — Я же, Сереженька, тоже не при царе Горохе родилась. Ну, ходила в театр, на танцы. Скучала иногда. Но не долго. Всегда кругом люди были.

— Обо мне, небось, говорила с этими... людьми?

— Нет, ни к чему было.. Один раз, правда, рассказала о тебе квартиранту, снимал тут у меня один офицер верхнюю комнатку.

— Какой офицер? — мгновенно настораживаясь, спросил Найт. У него даже сердце зашлось.

— А, ты уже ревнуешь? Не ревнуй, он два дня просидел там, готовился к экзаменам в академию, и уехал, нашел комнату в городе... А жаль, — она лукаво поглядела на Найта. Он не заметил этого взгляда, его пронзил страх. Что она успела рассказать? И что это за офицер — быть может, из тех, кто ищет его?

— Моряк? — как можно более равнодушно спросил он.

— Нет, летчик, лейтенант. Да не ревнуй ты, глупенький, и ничего ведь не было. Просто — поговорили с ним по душам. Хочется иногда поделиться...

— И чем же ты с ним делилась?

— Вспоминала, как мы катались. Показала одну фотографию, помнишь, ты снимал, разорвал, а я склеила. Ну, с этого разговор и начался.

Теперь Найт не сомневался: они знают о Кисляковой всё. Значит, не может быть и речи о том, чтобы провести здесь несколько дней, как он рассчитывал. Завтра на работе эта дура, конечно, раззвонит, что к ней вернулся муж, и тогда пиши пропало. Сегодня она выходная. Надо уйти завтра.

Эта мысль успокоила его. Он тревожно

вздрагивал всякий раз, когда по улице проезжала машина, когда кто-нибудь из прохожих взглядывал в сторону дома или останавливался возле длинного, низкого голубого заборчика. Оставшись на минуту в комнате один, он вытащил из нагрудного кармана пиджака плоский браунинг и проверил патроны, потом сунул его обратно. Если у него спросят документы, он полезет в карман и успеет выстрелить первым...

Хмель у него прошел окончательно. Его начало лихорадить. Нехватало только заболеть, — тогда совсем конец! Он всё оглядывался на окна, отодвигая занавеску, быстро осматривал улицу, палисадник, дом напротив и, не видя никого, пугался еще больше.

— Что с тобой? — спросила Кислякова. — Ты устал?

— Да, да... Очень устал.

Он провел ладонью по глазам. Может быть, наврать ей еще чего-нибудь, сослаться на дела, встать и уйти сейчас? Нет, на улице еще светло, уходить надо ночью. «Просижу ночь в городе у залива, хорошо, что не зима...»

Нервное напряжение росло у него с каждой минутой. Он встал и захлопнул окна, потом проверил, хорошо ли закрыта дверь. Мысль о том, что в любой момент за ним могут прийти, давила его, и, чтобы отвязаться от нее, он разговаривал нарочито громко, прислушиваясь к собственному голосу.

Когда в дверь постучали, Найт вскочил.

— Я открою, — остановила его Кислякова. — Это, наверно, соседка принесла молоко.

— Ну, открой, — пробормотал Найт.

Когда Кислякова вышла, он встал возле дверей с браунингом в руке, готовый стрелять, кричать, выбить окно и выскочить во двор; он слышал, как в голове у него стучала кровь. Потом увидел, что револьвер ходит ходуном — вверх-вниз, вверх-вниз, и крепко стиснул кисть правой руки левой рукой.

Кислякова вошла с банкой молока и удивленно остановилась.

— Сергей, где ты? — окликнула она.

Он не успел спрятать револьвер. Женщина обернулась.

— Нервы пошаливают, — попытался он улыбнуться. Улыбка вышла кривой, у него дергалась левая щека. — Привидения мерещатся...

— А это... что? — она показала на его карман. — Сережа, расскажи мне... всё.

— Мне нечего рассказывать. — Он подошел к столу и сел, пряча дрожащие пальцы под скатертью. — Я же тебе говорил, я был в экспедиции, у меня с собой много денег, и я боюсь... Налей мне вина. Нет, не сюда, а в стакан.

Вино помогло, он немного успокоился, — достаточно для того, чтобы выругать себя: «Как баба! Нет, этак в желтый дом можно угодить. Скорее отсюда, довольны!».

На улице стемнело, и, как бывает за городом, с темнотой наступила тишина, только вдали раздавались веселые голоса курортников да кто-то пел, — тоже далеко, и слова песни можно было только угадать.

— Ты боишься, что тебя ограбят? — спрашивала Кислякова.

— Да, да... Надо будет положить деньги в сберкассу.

— Ты говоришь правду, Сергей?

— Правду? Ну да, конечно, правду. Уедем отсюда, Мария... Всё равно — куда... Хотя нет, подожди. Потом. Я говорю — уедем потом, завтра.

Он выпил еще немного вина. «Спать я не хочу. Нет, я очень хочу спать, но я не усну». Он прилег на диван, не раздеваясь, и уснул. Он спал беспокойно, вздрагивая, и Кислякова смотрела на него с жалостью: вот как измотался человек, и себя жалела немного, — день кончился не так, как ей хотелось. Она думала пойти сегодня с мужем в Летний театр на «Шелковое сюзанэ...»

...Найт ушел ночью, неслышно, в одних носках, ступая по разошедшимся половицам. Когда Кислякова проснулась, она напрасно обошла весь дом, палисадник, выглянула на улицу — его не было, не было его вещей, значит, он ушел — и надолго, может быть навсегда. И она заплакала, стараясь не плакать и уговаривая себя не плакать, потому что у нее некрасиво толстели губы и распухали веки от слёз.

Потом она начала понимать. Не догадки, скорее подобия догадок, появились у нее, — пусть они были за тридевять земель от истины, но она чувствовала не только личную обиду. Он — нехороший человек. Не зря он стоял тогда у дверей, белый как полотно, с револьвером.

«Не всё ли тебе равно? — тут же спросила

она себя. — Был и нет, всё кончено, в следующий раз не будешь такой легковёрной, не простишь, как вчера». Но что-то недосказанное мучило ее. Убил он кого-нибудь, ограбил, бежал от правосудия? И сидел здесь, рядом с ней. Трогал ее руку. Смотрел в глаза. Она стояла перед зеркалом, густо пудря нос, веки, уже покрасневшие от слёз, а потом, еще раз оглядев себя и вздохнув, пошла на работу.

«Да что я, погрёмушка, что ли? — вдруг обозлилась она. — Поиграл, да и бросил? Нет», — и она свернула в переулочек, к районному отделению милиции.

3

В город Курбатов возвращался поездом: не хотелось ехать в машине вместе с арестованным, видеть его заискивающий взгляд, в котором нет-нет да и вспыхивала бессильная ярость. В конце допроса майора вдруг охватило чувство невыразимой брезгливости, какое появляется, когда наступишь на мокрого болотного гада. И хотя Курбатов сам искал этого гада, хотя он только и думал о том, как бы поскорей и посильней придавить его, и намеренно сделал это, — всё-таки брезгливое чувство взяло верх. Майору захотелось несколько часов побыть среди хороших, пусть и незнакомых людей, просто поговорить с ними о дорожных пустяках, просто отдохнуть, освободиться ненадолго от того напряжения, в каком последние дни он жил и работал.

Допрос Виктора Осиповича закончился вечером. Он рассказал, что Найт уехал в город накануне. Потом арестованного увезли, а Курбатов пошел на станцию. Поезд, видно, только что подали; майор сел в пустой вагон и выбрал место у окна, за узким столиком, на котором даже не помешались локти.

Свет еще не зажгли. Было тихо; в опущенное окно долетали короткие, приглушенные расстоянием гудки маневровых паровозов. По перрону кто-то медленно шел, звякая под вагонами жестяными заслонками и постукивая молотком по колесам. И Курбатову в этой вечерней теплой тишине снова стало беспокойно и тревожно, как минувшим днем, когда они стояли в цехе, а по проходу быстро шел враг... Снова подумалось: где же Найт? Куда скрылся самый опытный, самый хитрый из пятерых?

Вагон быстро заполнялся. Вошла шумная группа монтажников, — их профессию можно было легко определить по широким брезентовым поясам с замками и цепями, по сумкам, набитым клещами, кусачками, проволокой. Монтажники бросили под скамейки тяжелые крюки, расстегнули комбинезоны, продолжая разговор о линии, которую им надо тянуть. Хотя колхозники и сообщили, что столбы поставлены, но всё равно надо взглянуть сперва, что это за столбы, сосновые или еловые, а уж потом назначать сроки. А то, чего доброго, придется заменять столбы, — людей-то в колхозе знающих нет.

По проходу пробирался немолодой мужчина, не торопясь присматривался, где бы

сесть. Он мгновение постоял около монтажников, прислушался, потом пошел дальше и спросил у Курбатова: «У вас не занято?». Майор покачал головой — нет, садитесь, пожалуйста, — и подвинулся ближе к окну. Мужчина сел, упираясь руками о колени, и снова посмотрел туда, где громко переговаривались, смеялись монтажники:

— Ишь, черти, насмеваются... Слушать даже противно.

Курбатов с любопытством взглянул на соседа:

— А что вас возмущает? Может, и вправду в колхозе знающих мало.

Мужчина поднял руку и сильно стукнул по колену:

— Нет уж! Не верю... У нас в деревне, когда правление решило электричество провести, все, даже школьники, этим интересовались. Всякие там брошюры читали. А как же иначе? Смету ведь надо составлять, узнать, во сколько это самое электричество обойдется. Так вот всем колхозом и считали, а не то что один бухгалтер. Даже бабы у колодцев да на посиделках так «вольтами» и «амперами» сыпали, будь здоров!

Сосед помолчал. По вагону шла девушка — проводница. Войдя, она строго объявила:

— Товарищи, с левой стороны закройте окна!

Но чей-то задиристый голос ответил ей сразу:

— А мы здоровые, простуды не боимся!

В вагоне засмеялись, и со всех сторон понеслось:

— С ветерком поедem! Садись, хозяйка, рядом, тепло будет! Не бойся, не надует!

Девушка смутилась, — а ну вас! — и пробежала в другой конец вагона.

Курбатов с улыбкой посмотрел ей вслед. Вот прошла, и ничего вроде бы не сказала, а сколько веселья в вагоне! Ему тоже стало весело: ведь всё равно скоро уже конец всему делу. Ясно, конец. Курбатову захотелось, чтобы проводница снова вошла в вагон, и она, словно повинувшись его желанию, выглянула в приоткрытую дверь. Майор крикнул: «Скоро поедem?». Они встретились глазами, проводница хотела было что-то ответить, но на перроне ударил колокол, и она лишь кивнула в сторону окна. Затем раздался свисток, вагон дернулся, мимо медленно проплыли станционное здание и — возле самого стекла — желтый свернутый флажок и красная фуражка.

— Ну вот и поехали! — сосед сказал это с видимым удовольствием и даже провел кончиком языка по губам, а потом спохватился и слегка отодвинулся, поджав под себя полу пиджака: — Мне бы не запачкать вас, я спешил очень, не переоделся.

Курбатов отвернулся от окна:

— Ничего. Далеко ли едете?

— На третьей станции сойду.

Сосед доверительно подмигнул и полез в карман за папиросами. Курбатов предложил свои.

Тот согласился:

— Ну, давайте ваши. «Беломор»? Слабоваты, да ладно. Отказаться не смею.

Они сидели теперь, как старые знакомые, и курили, стараясь не попасть дымом друг другу в лицо.

— Тракторист я. Шестой год в эмтээсе. Нынче весна-то сухая, почти сразу от выборочной к массовой пахоте перешли. Справились быстро, за десять дней, считай, отселись. Не то что прошлый год.

— На каком тракторе работаете?

— На «ДТ-54». Хорош! Правильную машину сделали. Вездеход, можно сказать. По грязи трудно, конечно, но куда лучше, чем на колеснике.

— А в городе что делали, когда пахота идет?

— Вырвался на день в город, к брату, позвонил ему на комбинат, а того нет, уехал с турбиной на Куйбышевскую... Ну, так и не довелось свидеться.

Курбатов молчал, попыхивая папироской, и даже не подумал о том, что «зеленую улицу» следующему эшелону с турбиной открывал тоже и он, и Морозов, и бойцы. Сосед что-то говорил ему — о глубине пахоты, о новой фильтрации горючего, о том, что своего плуга осенью, после подъема зяби, он обязательно отправит в школу механизаторов: дельный парнишка... А Курбатов, по профессиональной привычке к анализу, пожалуй незаметно для себя самого, перешел к своим думам о деле, от которого пока не уйти, не уехать, не отдохнуть. Внезапно он подумал: «А почему я от рассказа тракториста перескочил к мыслям о Найте?». Курбатов начал возвращаться к тому случайно сказанному слову,

откуда появилась другая мысль — мысль о Найте. Майор уже не слушал, что ему говорит сосед, но продолжал вежливо поддакивать, а потом неожиданно спросил:

— Так, значит, вы брату позвонили, узнали, что он уехал, и не зашли к нему домой, верно ведь?

— Чего ж заходить-то?

— Простите, — сказал Курбатов, — я о своем задумался.

Тогда, в свою очередь, его начал спрашивать тракторист:

— Вы командировочный или в гости ездили?

Пришлось сказать, что ездил к знакомому, да не застал, вот еду назад и не знаю — как найти?

— А вы в адресном столе справьтесь, — сочувственно посоветовал тот.

Курбатов мысленно усмехнулся. Нет, милый человек, этот мой знакомый в адресном столе не значится... А вслух он сказал:

— Да, очевидно, так и придется сделать.

Сказав соседу, что он не знает, как найти одного знакомого, Курбатов уже знал, как его можно найти.

4

Никто не интересовался, почему Лаврова вызывают в штаб дивизии: время было горячее, подготовка к маневрам в дивизии шла во-всю.

Лавров проверял личные дела офицеров. Едва он взялся за розыски, как его постигла первая неудача: оказалось, что в ту субботу

и в воскресенье, когда был убит Ратенау, увольнялось в город шестьдесят три человека. Лавров даже подумал с грустной улыбкой: там, двенадцать лет назад, было пятеро из двадцати шести, а здесь — один из шестидесяти трех. Однако ему стало легче, когда в списке уезжавших в город он увидел фамилию Синякова; смешно было бы предполагать, что этот двадцатилетний лейтенант мог оказаться одним из тех пятерых. Тогда ему было лет девять, он бегал в школу, учил басни Крылова и мечтал попасть на фронт!

Затем он откинул еще пятерых: они ездили с экскурсией и вернулись все вместе, нигде не расставались в пути. Сам того не зная, Лавров сейчас действовал так же, как совсем еще недавно Курбатов. Что ж, метод исключения тут был единственно верным, но всё-таки, когда у Лаврова осталось на подозрении — по тем или иным мотивам — двадцать два человека, он не знал, что ему делать сейчас — радоваться или начинать всё сызнова: вдруг допущена ошибка и среди этих двадцати двух нет того, единственного... Он возвращался к отложенным личным делам. У одного офицера сын в десятом классе, — стало быть, офицер этот не от туда. Другой кончил перед самой войной академию, — тоже отпадает. Он искал мелочи, те незаметные на первый взгляд мелочи, о которых ему говорил Курбатов. Лавров читал характеристики, всевозможные справки, даже медицинские свидетельства. Его внимание останавливалось и на благодарности майору Москвину и на том, что в сорок четвертом году Олышанскому вырезали в городе

аппендикс. Лавров опять возвращался к отложенным папкам. Те пятеро прошли тогда в город и, повидимому, остались в нем. «Будем искать тех, кто жил там, хотя враг представил, очевидно, фальшивые справки...»

Так прошло два дня, и Лавров чувствовал, что дальше уже тянуть нельзя, надо действовать более уверенно. Однако времени на то, чтобы встретиться с каждым из подозреваемых им, у него не было: он провел два занятия в ротах (а к ним надо было готовиться) и только ночью возвращался к своим раздумьям.

Он не удивился, когда его снова вызвали в штаб дивизии.

— Будете работать здесь, — сказал начальник. — Дела передадите новому заместителю.

В столовой, за обедом, Синяков спросил Лаврова:

— Тебя, кажется, перевели в штаб?

— Да, не понимаю — чего так. Не успел обжиться в батальоне, и...

— Карьера быстрее наполеоновской, — отозвался от соседнего столика Олышанский, и снова, как при первой встрече, в его тоне Лаврову послышалось какое-то скрытое раздражение. Чего он ворчит всё время? Москвин — тот только покачал головой: будет у меня, наконец, заместитель? — но Лавров утешил его.

Он вышел из столовой вместе с Москвиным. Роты возвращались с обеда, лагерь шумел недолго, над палатками вдруг опустилась тишина — это начался послеобеденный отдых, и только где-то далеко слышался голос дневального: «Дежурный — на линию!».

— Пойдем выкупаемся? — предложил Москвин, и Лавров подумал: как знать, может, он так же предлагал выкупаться и Ратенау?

— Пойдем, жара-то какая! Это врачи выдумывают, что после обеда купаться — вредно.

Но прежде чем выкупаться, они полежали на берегу; Лавров, покусывая гладкий белый корешок какой-то травинки, думал, с чего бы начать разговор — осторожный, издавека, и, наконец, спросил, любит ли Москвин пляж в городе.

— А ну его, народу — не продохнёшь, и вода теплая... — Он оживленно повернулся к Лаврову. — Вот перед войной я на Саянах работал, там теплые источники — прелесть! Зима, на улице градусов сорок, а ты сидишь в этаконь луже голенький. Вылезать, правда, противно...

— Чего это тебя в такую даль носило?

— Так я же до войны горняком был. Есть такая специальность — маркшейдер. Два года на Саянах, три на Колыме. О войне узнал на восьмой день, вернувшись из тайги...

Всё это — и кем, и когда, и где работал Москвин, Лавров уже знал, но слушал с интересом. Мысль о том, что всё это придется проверять, появилась у него и исчезла. Москвин рассказывал о тайге, о горах, о лесном зверье и добыччиках; нет, такого в книжках, пожалуй, не вычитаешь, это надо увидеть самому — и как падают от старости многовековые сосны, и как после обвала вдруг блеснут среди камней аккуратные, на диво сработанные природой дружки горного хрусталя, и как по первопутку тянутся — чок в чок — мелкие лисьи

следы со сбросками от задних лап. Москвин рассказывал увлекательно, и Лавров выругал себя за то, что пошел с ним, время потратил зря. На холме уже прокричали «подъем», и оба они оделись. Роты шли на занятия; нарушив тишину, далеко — над озером, лесом, полем — разнеслась песня:

Идут гвардейские дивизин,
Идут вперед гвардейцы-молодцы!
Ты, родимый край,
Нас не забывай.
А ну, ребята, песню запевай!

Москвин встал, одергивая сзади привычным жестом складки гимнастерки:

— Заговорились мы с тобой. Ты будешь на стрельбах завтра?

— Не знаю, — ответил Лавров.

— А интересно! Впервые зачетные стрельбы бронебойными пулями. Я уже стрелял. Не пуля, а — снаряд от сорокопята, так разворачивает броню.

Они простились, и Лавров пошел к себе; он решил еще раз просмотреть двадцать два отложенных личных дела.

На дороге его обогнал «газик» — верткая, сильная эта машина вдруг притормозила, и Ольшанский, сидевший за рулем, махнул рукой — садись, подвезу. Лавров быстро сел рядом с Ольшанским, тот переключил скорость и свернул к штабу.

— А я — на станцию, — сообщил он, когда Лавров вылезал из машины. — Бензин пришел на всю мою технику.

— Ну-ну, — неопределенно сказал Лавров. Он подождал, пока Ольшанский отъедет, и,

когда закружилось за «газиком» и осело желтоватое облако дорожной пыли, пошел к себе. Время уходило, скоро подразделения снимутся с места на маневры, а он не сделал ничего, или вернее, почти ничего...

Однако в этот же день Лаврову удалось отложить еще несколько папок. Сперва были исключены те офицеры, которые прибыли из других частей. Они начинали войну на Украине или в Белоруссии и никогда не могли быть в Солнечных Горках. Затем Лавров вспомнил слова Курбатова о том, что разыскиваемый враг не был в группе Седых, и отложил еще две папки.

Тогда же при встрече Курбатов говорил ему, что человек этот был, очевидно, призван в армию позже сорок первого года. Вряд ли он, перейдя линию фронта, сразу же попал в армию. Не мог он быть и выпускником военного училища. В самом деле, после окончания училища неизвестно куда направят и связь с резидентом может быть потеряна.

Эти мысли Курбатова помогли Лаврову. На столе перед ним лежало уже не двадцать две, как прежде, а шесть папок с личными делами офицеров дивизии.

Лавров оставил их не потому, что хозяева этих папок внушали ему какое-то ясно выраженное, утвердившееся недоверие; попросту он не мог еще определить свое отношение к этим людям, к их прошлым делам. Один из них, например, в одиночку вышел в октябре 1941 года из окружения — одно это, само по себе, могло если не возбудить подозрение, то заставить насторожиться.

Особенно долго раздумывал Лавров над личным делом старшего техника-лейтенанта Ольшанского.

Ольшанский давно служил в этой части. В течение всей войны он был сержантом-механиком, ремонтировал поврежденные машины. Работал он, вероятно, хорошо, достаточно хорошо, чтобы в качестве военного представителя на авторемонтном заводе занимать офицерские должности, и не удивительно, что год спустя после войны ему было присвоено офицерское звание. Одно смущало Лаврова: год прихода в армию — тысяча девятьсот сорок второй. Лаврову припомнились одногодки Ольшанского, пришедшие неделю спустя после войны Лавров их «оморячивал» — учил вязать топовые узлы и стрелять из пулемета, не бросать окурков за борт; морская «жилка» пригодилась и потом, в пехоте.

И сейчас, глядя на документы в личном деле, Лавров колебался — посылать их в город на проверку или нет. Потом решил, что худо не будет, — во всяком случае, там люди опытные и разберутся, что к чему.

Он отослал все шесть папок Брянцеву с нарочным и целый день томился в ожидании известий. Поздно вечером его вызвал к телефону Брянцев. Прежде всего, он спросил Лаврова, один ли он в комнате, и только затем начал разговор.

В сущности, в документах ничего особенно интересного нет. Конечно, офицер, вышедший из окружения в одиночку, требует более тщательной проверки. А в деле Ольшанского всё более или менее ясно, кроме одного — он

пишет, что жил перед призывом в армию на Семеновской улице, в доме 16. Однако этот дом был разрушен в самом начале войны. Затем Ольшанский пишет, что работал в артели «Ремавтомаш». Такая артель в самом деле существовала, но была ликвидирована опять-таки в самом начале войны. Это, может быть, описка Ольшанского.

— Но мне не нравятся такие описки. Вот и всё, что я могу вам пока сказать. Кстати, что вы намерены делать с той рубашкой, которую вам передал Курбатов?

Лавров пожал плечами и засмеялся:

— Не знаю. Вывесить ее, что ли, и объявление приколоть!

— Это, конечно, ни к чему, — ответил Брянцев. — Хотя что-нибудь вроде этого нетрудно придумать.

На следующий день с утра, как назло, зарядил мелкий дождь. Лавров сидел в своей комнате в штабе и готовил материалы для лекций о воинской дисциплине. Под окном журчал ручеек. Где-то далеко слышались винтовочные выстрелы, — по всей дивизии сегодня начались зачетные стрельбы. Каждые два часа по дороге проходила смена караульных, да по двору, прикрывая от дождя кипу газет, перебегал от типографии в редакцию наборщик.

Лавров закончил конспект лекции к обеду. В столовой, куда он пришел голодный и усталый, было пусто. Через некоторое время в столовую с шумом вошло несколько человек,

в том числе Горохов, начштаба полка и полковой врач. Наденька внесла на большом подносе пачку писем. Начштаба, надев пенсне и сразу став похожим на Чехова, подошел к столу медленно, даже чуть торжественно, и начал читать адреса, беря письмо одно за другим. Он отложил письмо себе, потом дал два Горохову; Лаврову писем не было. Полковой врач получил сразу четыре. Одно письмо пришло Ольшанскому.

Офицеры выходили из столовой, когда мимо прошли три цистерны, а вслед за ними вынырнул из ложины «газик» Ольшанского.

Он лихо подкатил к крыльцу столовой и, соскочив, весело закричал:

— Видали богатство? Хочешь — в машину лей, хочешь — сам пей. Не бензин — коньяк три звездочки!

— Вам письмо, — сказал Горохов, — от девушки. Почерк с завитушками, — и, подражая тону Ольшанского, добавил: — не почерк, а шестимесячная завивка!

Ольшанский захохотал, показывая желтые крупные зубы. А Горохов, раз пошутив, уже разошелся и, лукаво подмигнув Лаврову, спросил: «А знаете, почему у Ольшанского синяк вот здесь не проходит?» — и он постучал себя по бицепсу ребром ладони. Офицеры снова рассмеялись, а Лавров весь подался вперед, и в висках у него гулко застучала кровь. Синяк! И, кажется, в позапрошлом воскресенье Ольшанский ездил ловить рыбу! Горохов говорил...

Лавров лихорадочно искал предлог остаться

с Ольшанским, но предлога не было, а Ольшанский уже зевал:

— Поем да спать, сосну минуток полтора, а вечером в баню схожу, — весь в бензине вывозился.

Идя к себе, Лавров неотступно думал о том, что Ольшанский, а не кто другой, был в то воскресенье на озере. Вскользь сказанные слова Горохова могли быть случайными, но они как раз дополнили цепь раздумий Лаврова. Он сдерживал волнение, какое у него появлялось всегда перед началом каких-либо решительных событий. Лавров не помнил, как простился с Гороховым, — наспех едва кивнув ему, и как тот удивленно поглядел на него: «Ты, того... не заболел, часом?». Впрочем, и этого он не слышал и почти бежал по скользкой, размытой дождем дорожке.

Первое, что бросилось ему в глаза, когда он, откинув набухший водой брезент палатки, влез туда, — были незаконченные письма. Он смахнул их со стола, оставив на досках мокрый след рукава, и сел, потирая лоб. Чего-то ему нехватало сейчас. И снова он выбрался из палатки, прикрываясь плащом от косых струй дождя. Неподалеку, под «грибком», с которого так и лила вода, стоял дневальный.

Он вытянулся, когда Лавров подбежал к нему, и собирался было крикнуть: «Дежурный — на линию», — но Лавров махнул ему рукой:

— Не надо... У вас есть папиросы?

— Папиросы? — удивился тот. — Ну, конечно, есть.

Укрывшись под грибком, закрыв ладонями

трепетный огонек спички, Лавров неумело закурил, закашлялся, и дневальный спрятал невольную улыбку. Лавров попросил у него еще две папиросы — про запас; он знал, что иначе ему снова придется бегать под «грибок». Зажав две папиросы в одной руке, зажженную — в другой, он снова кинулся под дождь, к своей палатке.

Наконец, ему всё-таки удалось успокоиться. Были ли тому причиной первые затяжки горьким, обжигающим дымом, или просто он сказал себе, что успокоиться сейчас необходимо, — как бы там ни было, но Лавров уже мог привести в порядок разрозненные мысли, начать думать не только о том, что Ольшанский — враг, но и о том, как окончательно в этом увериться...

Прачки не удивились, когда в отворившихся дверях показалась в облаках пара, ринувшегося навстречу свежему воздуху, фигура офицера. Сюда приходили часто: сдать в стирку белье, а в соседней комнате получить свежее, выглаженное. Когда схлынул пар, все увидели, что у офицера в руках — сверток.

— Мне тут по ошибке чья-то рубашка попала. Давно собирался к вам зайти... Помялась она, правда.

— Ну, отгладим, — беря сверток, сказала одна из прачек. — А чья, вы не знаете?

— Не знаю, — ответил Лавров. — Может быть, Ольшанского, мы с ним в прошлый раз вместе брали... Вы ему отдайте, может и на самом деле его.

Лавров уже повернулся к дверям, когда

они снова отворились и, как он ожидал, вошел Ольшанский, собравшийся в баню.

— А дождя-то нет, — весело сказал он. — Эх, и соснул же я, а теперь — попарюсь. Как с паром?

Лавров ответил:

— Я в бане не был, от дождя здесь прячусь.

Ольшанский хитро подмигнул ему:

— Брось ты, от дождя! Невеста уехала, а ты сюда?

Лавров нахмурился, но Ольшанский с беззаботной ухмылочкой уже шел к длинному столу, где гладили белье.

— Что, мое готово? — спросил он.

— Да, сейчас... — И, ставя утюг на подставку, женщина сняла с полки комплект. — А эта, случаем, не ваша? Лишняя чья-то у нас.

Она держала рубашку за плечи. Ольшанский посмотрел, повертел ее, потер между пальцами рукав и сказал:

— Моя. Давайте и ее заодно.

Потом он вздрогнул. Лавров не видел его лица, но видел, как тот дернулся всем телом. Лавров знал: он только сейчас понял свою ошибку. Он стоит сейчас, заворачивая свое белье, и лихорадочно соображает, что ему делать. Он сейчас испытывает больше, чем растерянность и испуг, — ему не понять, как эта рубашка попала сюда.

Ольшанский быстро обернулся, и столько кричащего ужаса было в его расширенных зрачках, что у Лаврова больше не оставалось сомнений...

Но увидел Ольшанский только равнодуш-

ного, будто ничего не заметившего и ни о чем не догадывавшегося Лаврова, который даже показывал ему рукой на дверь:

— Ну, что ж ты там задержался? Пойдем, нам по пути до бани.

Лавров знал: если сейчас не арестовать Ольшанского, он удерет, — он науган, он понял, что выдал себя с головой. Пока что можно не волноваться: днем из расположения лагеря Ольшанский тайком не выйдет.

Лавров позвонил в город, Курбатову, но к телефону подошел кто-то незнакомый. На вопрос, можно ли попросить майора Курбатова, тот, незнакомый, ответил, что Курбагова вот уже несколько дней нет в городе, а если нужно что-нибудь сообщить, он, полковник Ярош, в курсе всех дел...

Лавров назвал себя. Ярош молчал, выслушав Лаврова, и молчал так долго, что Лавров спросил:

— Вы всё расслышали?

— Да, всё, спасибо.

— Что делать дальше?

— Дальше? — медленно повторил вопрос Ярош. — Дальше ничего не делайте.

— Но ведь он удерет!

— Теперь плвуда не удерет, не бойтесь. Я понимаю, вам хочется всё сделать самому до конца, но у нас свои соображения. Вы поняли меня?

— Слушаюсь, товарищ полковник, — ответил Лавров и еле попрощался с Ярошем.

Как всё получилось: распознал, вывел на чистую воду и — на́те вам, сиди сложив ручки. Хотя, конечно, там видней...

Вернувшись в батальон, он услышал резкий и потому незнакомый голос. Лавров остановился и прислушался:

— ...Я спрашиваю вас, кто виноват в этом?

— Товарищ майор, может, это ошибка вышла.

— За такие ошибки отвечают, старшина, это вам хорошо известно.

Неподалеку стоял хмурый, туча-тучей, Москвин, командир второй роты, носком сапога выковыривая из земли какой-то камешек, и перед ним — Шейко, бледный и тоже хмурый. Лавров подошел и спросил глазами: что произошло? Москвин досадливо отвернулся. Что произошло? Чепе, вот что, — чрезвычайное происшествие. Пять бронебойных патронов, вся обойма, исчезли во второй роте. Лавров вздрогнул, словно его ударили:

— Как?

— Расскажите, старшина!

Шейко повернул к Лаврову свое доброе, мягкое лицо, но на этом лице легли возле рта жесткие складки, и Шейко заговорил, с трудом, будто нехотя разжимая рот:

— Стреляла вся рота. Патроны выдавал сержант Анохин. Он же принимал по счету обоймы со стреляными гильзами. И кто-то подал ему обойму с гильзами от простых патронов...

— Вы понимаете? — обернулся к Лаврову Москвин. Тот кивнул, не сводя глаз со старшины.

— Что дальше?

— Дальше... Ну, дальше, я заметил подмену.

— Вызовите-ка сюда Анохина, — приказал Лавров. — Чего ж мы здесь стоим, дождь всё-таки.

Анохин вошел и остановился у входа в палатку. Шейко протиснулся за ним и встал рядом. Что мог добавить Анохин? Да, это гильзы от простых патронов.

— А вы что смотрели? — накинулся на него командир роты.

Москвин остановил его:

— Не надо. Взыскание наложим после.

— Кто из офицеров стрелял новыми, бронебойными? — вдруг неожиданно спросил Лавров.

Москвин молча взглянул в его сторону, а командир роты пожал плечами. Но Анохин ответил, нимало не задумываясь, что стрелял и товарищ капитан, и все командиры взводов, и двое из штаба полка приезжали специально, и командир транспортной роты...

— Ольшанский? — тихо сказал Лавров.

— Так точно.

— Продолжайте. Все они вернули гильзы?

— Так точно. Они, гильзы, стало быть, у меня в плащ-палатке были, ну, туда их и кинули тоже.

— Это-то ясно, — нетерпеливо перебил Анохина Москвин. — Можете идти... Ч-чёрт, придется писать рапорт, пошла неприятность! Завтра уже будут знать в округе. И в такое время... Ночью приказано выступать всей дивизией к месту учений.

Он встал и кивнул Горохову:

— Пойдем, напишем рапорт вместе, и вы тоже, товарищ капитан.

Лаврову стало жалко его: сильно нервничает человек, даже багровые пятна пошли по лицу. Но рано было высказывать подозрения. Едва трое офицеров ушли, Лавров вышел из своей палатки и, стараясь не бежать, свернул на дорогу к политотделу.

Там уже никого не было, возле дверей стоял ночной пост, и Лавров, повернувшись, быстро пошел к Седых.

Седых был дома. Он читал, сидя на низеньком диване, и когда Лавров вошел не докладывая, поглядел на него поверх книги:

— Что такое?

— Товарищ подполковник!.. Мне немедленно надо с вами поговорить... Мне необходимо иметь сегодня машину... Немедленно.

Подполковник, молча смотревший на Лаврова, догадался, что Лавров чем-то сильно взволнован, и встал:

— Хорошо, берите мою.

...И вот ночь, густая, темная, облачная; дорога, смутно белеющая впереди, кусты по краям дороги, сливающиеся в одну сплошную черную массу. Лавров иногда останавливал машину и слышал, как впереди, удаляясь, всё тише и тише стучит мотор «газика», на котором ехал Ольшанский.

Дорога шла к городу. Она петляла возле холмов, обходила озеро, то сбегала в ложбину, то вновь круто поднималась вверх. «Почему он едет в город? — удивлялся Лавров. — Быть

может, хочет предупредить своих, а потом уже на поезде удрать куда-нибудь подальше? И почему полковник Ярош распорядился отпустить его? Пусть я нарушил приказ, — я знаю, что поступаю сейчас правильно...»

Не знал он, что Ярош звонил Седых, называл себя и спрашивал, где Ольшанский, а когда тот сказал, что Ольшанский, кажется, выехал, — быстро спросил номер машины. Не знал Лавров, что Ярошу сообщили: машина с таким-то номером только что прошла в город. Не знал, что машине этой уже не уйти незамеченной, что каждый постовой милиционер, проводив ее глазами, подойдет к телефону, прикрепленному в большой коробке к стене дома, и сообщит о ней в автоинспекцию, а оттуда — полковнику Ярошу или его помощникам.

Лавров потерял машину Ольшанского в городе; тот, надо думать, свернул в какой-нибудь переулок, но Лавров всё-таки продолжал искать его часа два. Наконец, бросив поиски, поехал к Ярошу.

Полковник торопился; он записал что-то в своем блокноте и, взглянув на Лаврова, сказал:

— Слушайте, никуда отсюда не уходите. Ложитесь на диван и усните, а? Вы же едва на ногах держитесь.

— Ничего, спасибо.

— У вас есть где остановиться?

— Нет... Но, однако, я... поеду.

— Оставайтесь лучше, куда вы поедете сейчас? Вы же уснете на ходу.

Лавров всё-таки ушел. Он сел в машину и когда немного проехал, то понял, что до дивизии ему не добраться, — Ярош прав, так можно уснуть за рулем.

Осторожно он свернул сначала на одну, потом на другую улицу.

«У меня сапоги в грязи, я не брит — но Катя поймет... Вот ее дом... Вот ее лестница... Вот ее дверь...»

Катя стояла в дверях, запахивая халатик, сонная, растерянная, со сбившимися волосами, и когда он шагнул к ней, она медленно подняла руки и кольцом охватила его шею:

— Это ты!

— Прости меня, Катя...

— Молчи, — и она ладонью закрыла ему рот. — Молчи, — шепнула она, — не надо ничего говорить... Я ведь тоже люблю тебя.

По коридору прошелестели ее легкие шаги, она чиркнула в кухне спичкой, зажигая газ. Он прошел за ней и осторожно взял ее за руку. Девушка обернулась: «Что, милый?». Лавров молчал. Катя испуганно вглядывалась в него, ахнула, увидев забрызганные грязью сапоги, светлую щетину на лице, воспаленные глаза и сухие, потрескавшиеся губы, схватила за рукав и потащила за собой, в комнату. Входя, он неловко споткнулся о порог, а Катя поцеловала Лаврова в губы и вышла, тихо и счастливо рассмеявшись. Чему? Лавров уже не искал этому ответа, он сам был сейчас не только бесконечно усталым, но и бесконечно счастливым.

Э П И Л О Г

Генерал сказал:

— Да, да, сегодня. Сегодня мы кончим операцию.

Курбатов догадался: это звонила Москва, справлялись, как идет следствие. Наступила, наконец, пора, когда группа агентов иностранной разведки, уже обнаруженная, должна была прекратить свою деятельность. И здесь, в большом кабинете Курбатова, где, помимо него, были генерал и полковник Ярош, спокойно ожидали стремительно приближающейся развязки.

Всё было ясно, всё — проверено. Куда торопился полковник Ярош, когда Лавров, усталый, взволнованный, пришел к нему? В соседнюю комнату, где его ожидал Позднышев, принесший точные расчеты, доказывающие, что поправки Козюкина — не промах, не ошибка, а умышленное искажение, результат которого — авария. Куда делась машина Ольшанского? Она остановилась возле дома, где жил Козюкин, и был уже отдан приказ: задержать обоих. Куда увезли арестованного Виктора Осиповича? Капитан Звягинцев и

несколько чекистов были у него на квартире, ждали гостей; арестованный был с ними. Всё, всё было предусмотрено, проверено до мелочей, поднят на ноги и приведен в движение спянный коллективиз. — и не было силы на свете, которая могла бы предотвратить развязку, подготавливавшуюся долгие дни.

Курбатов мог только предполагать, что происходило сейчас в двух противоположных концах города.

В небольшой комнате, словно наспех заставленной мебелью, будто обитатель ее жил, не зная, обрастать ли ему вещами и начинать ли ровную размеренную жизнь, — было тихо. За письменным столом, перебирая старые журналы, сидел Звягинцев и изредка поглядывал на молчавший телефон. Около дверей стоял босяк, но смотрел он не на телефон, а на Виктора Осиповича, бывшего хозяина этой комнаты. Тот сам чувствовал, что он уже больше не хозяин, и поэтому примостился на краешке стула под плохой репродукцией левитановской «Осени». Он сидел там, где велел ему Звягинцев, и ждал звонка. Но телефон молчал час, два, три. Виктору Осиповичу казалось, что часы идут медленно, но он хотел, чтоб это ожидание продлилось дольше. Всё-таки жаль было расставаться с этой комнатой — последней, надо полагать, в свободной жизни. Он так и не привык к ней, так и не полюбил ее; впрочем, он не любил вообще те места, где жил — в Париже, в Женеве, в Берлине, — попросту он не успевал обжиться их.

Наступила ночь, и Звягинцев зажег настольную лампу. Лампа, как и всё в этой ком-

пате, казалась неуклюжей и удивительно безвкусной. Верхний свет Звягинцев запретил зажигать. Из подворотни противоположного дома с окна не сводили глаз шесть человек. С ними была договоренность: как только в комнате зажгут люстру, бойцы идут в парадную дома, где «живет» Виктор Осипович.

Перелистывая журнал, Звягинцев думал о том, что тракторист подсказал Курбатову, сам того не ведая, единственно правильный в нынешних обстоятельствах ход, и Звягинцев торопился сделать его. Прямо с вокзала Курбатов приехал на работу и приказал доставить арестованного в его последнюю квартиру: Найт не знает, что Виктор Осипович арестован, и, ясное дело, интересуется исходом диверсии. Он может позвонить сюда, и если его подчиненный подойдет к телефону, Найта легко можно будет вызвать сюда. Расспрашивать о диверсии по телефону Найт не будет.

Звягинцева не волновало, что звонка нет так долго. Он догадывался: если Найт будет звонить, то только ночью или рано утром, когда, по расчетам Найта, Виктор Осипович наверняка уже будет у себя.

Звонок не застал Звягинцева врасплох; он жестом указал Виктору Осиповичу на трубку. Лицо у того вытянулось. Он, видно, не сразу услышал звонок, а когда понял, что Найт всё-таки позвонил, вскочил.

— Да, — сказал он в трубку. — Алло! Алло! Я слушаю... — там ему не отвечали, он повторил еще несколько раз: «Алло, я слушаю!».

Звягинцев кивнул: хватит!

Виктор Осипович сел, потирая острые колени, и не понять было, радуется он или нервничает; потом он сказал глуховато и ровно:

— Это Найт. Его манера — не отвечать. Должен прийти.

Звягинцев, не поворачиваясь к нему, спросил:

— А вы что, радуетесь?

— Еще бы! — усмехнулся Виктор Осипович. — Как говорят, долг платежом красен... Мне — шесть тысяч, а сам — в кусты...

Капитан встал и вышел в коридор. На лестничной площадке горела лампочка, в коридоре же было темно, и это хорошо: Найт не сразу разглядит, кто ему откроет двери.

...Сперва Звягинцев услышал на лестнице быстрые шаги вниз; поднявшись, человек постоял у двери, переводя дыхание, и нажал кнопку звонка три раза: два коротких и один длинный. На цыпочках возвращаясь к комнате, чтобы зажечь там верхний свет, Звягинцев усмехнулся: ишь, конспирация! Потом он снова пошел к дверям, уже не боясь шуметь.

Дверь он раскрыл толчком. Теперь было всё равно, открывал ли Виктор Осипович так или, накинув цепочку, выглядывал сначала в узкую щелку: всё равно это был последний приход Найта.

Найт, не переступая порога, взглянул в темь, разглядел, что открывший ему — ниже ростом, чем Виктор Осипович, понял всё и, вскинув глаза к табличке над дверьми, извиняющимся голосом сказал:

— Простите, я, кажется, ошибся этажом.

Вежливо поклонившись, прикоснувшись кончиками пальцев к полям шляпы, он пошел вниз. Но Звягинцев вышел вслед за ним на площадку и сказал тихо и буднично:

— Не торопитесь, Найт, вы пришли туда, куда нужно.

Найт всё еще спускался. Звягинцев заметил, как он торопливо сунул руку в карман пиджака, и тогда сказал громче:

— Стрелять не имеет смысла. Внизу вас ждут.

...Найт звонил не только Виктору Осиповичу. Убедившись, что тот жив и здоров, и уже дома, как ему было приказано, Найт позвонил Козюкину, и тот сразу снял трубку, словно давно ждал этого звонка.

— Я буду сегодня у Виктора, — сказал Найт так, будто они несколько часов назад расстались, а теперь договариваются, как бы повеселее провести вечер. — Так что ты приходи и принеси картишки: сразимся в преферанс.

Козюкин понял, что Найт называл «картишками».

Он не обратил внимания на шум остановившейся внизу, у парадной, машины: это был привычный уху шум улицы. Только когда в прихожей раздались условные звонки, он понял, что приехал «лейтенант», и поморщился, — как некстати! Вообще эти приемы на дому надо кончить: неровен час, причешут одной гребенкой.

Ольшанский вошел в комнату стремительно, не здороваясь с хозяином, и Козюкин с ужасом почувствовал, что случилось что-то непоправимое. Он пошел вслед за Ольшанским, на ходу повторяя одно и то же:

— Что?.. Что?.. Что?..

— Где хозяин?.. — выдохнул Ольшанский.

— Там... Мы с ним встречаемся... сегодня.

— Передайте ему — я должен исчезнуть... Я открыт. Где мои чертежи, давайте их сюда... Скорее, ну!

Теперь Козюкин быстро захлопнул окно, словно их могли услышать с улицы, и повернулся к Ольшанскому.

— Так зачем же вы тогда приехали ко мне? — крикнул он.

Ольшанский только усмехнулся:

— Да нечего вам орать, — пока они найдут меня, я буду далеко. Они не знают, что я у вас. Я ведь тоже не лыком шит.

Козюкин мало-помалу успокоился, и вдруг у него мелькнула ясная мысль: удрать вместе с Ольшанским; в конце концов, он тоже не лыком шит, а это довольно верная возможность наконец-то очутиться там, за рубежом... Он так и сказал Ольшанскому. Тот раздумывал недолго, кивнул: «Собирайтесь. Ничего лишнего», — и пошел в соседнюю комнату разыскивать в буфете коньяк.

«Ничего лишнего» Козюкин и не собирался брать. У него был ящичек, обтянутый сафьяном: там хранилось золото и драгоценности. Он скупал их на все свободные деньги, потому что деньги — это прах, он уже «погорел» на ленежной реформе и больше не хочет.

Пока Ольшанский наливал рюмку и, чавкая наспех, закусывал яблоком, Козюкин сгрёб из ящика все свои бумаги, письма от женщин, их фотографии и сунул в камин. Розовый огонек пробежал по бумаге сначала нехотя, потом вспыхнуло яркое пламя, и бумага начала сворачиваться, коробясь и чернея. По сгоревшим уже листкам пробегали огненные червячки...

Он снял с полки книгу, где были вклеены сведения, переданные ему Ольшанским. Оставалось распороть обложку бритвой, когда снова в прихожей раздался звонок. Козюкин вздрогнул и порезал себе бритвой палец...

О том, что операция закончена успешно, Курбатов докладывал Москве сам: это было его почетное право, и генерал охотно предоставил это ему. Вот теперь Курбатов волновался, и полковник Ярош, подмигнув лукаво, спросил, когда майор повесил трубку:

— Что сердце у вас так стучит, товарищ майор?

Если б он мог крикнуть: спасибо тебе, Отчизна! Спасибо, Москва! Спасибо, мой народ, для которого я живу и работаю, за те ласковые слова, что сказаны мне. Я — твой верный слуга, один из стальной гвардии чекистов, выращенной, закаленной народом и партией...

Курбатов взволнованно отошел от стола. Генерал и полковник с улыбкой следили за ним. Курбатов обернулся к генералу:

— Но операция еще не совсем закончена, товарищ генерал? Есть еще Шредер, немецкий агент R-354.

— Мы не забыли о нем, — ответил генерал. — След Шредера обнаружен. — Он нахмурился и отошел к окну: — Стало быть, операция закончена... А борьба, товарищи... Борьба продолжается.

Ленинград — Москва

1953—1954



О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>Пролог</i>	<i>3</i>
<i>Глава первая</i>	<i>20</i>
<i>Глава вторая</i>	<i>44</i>
<i>Глава третья</i>	<i>67</i>
<i>Глава четвертая</i>	<i>99</i>
<i>Глава пятая</i>	<i>125</i>
<i>Глава шестая</i>	<i>145</i>
<i>Глава седьмая</i>	<i>164</i>
<i>Глава восьмая</i>	<i>210</i>
<i>Глава девятая</i>	<i>218</i>
<i>Глава десятая</i>	<i>253</i>
<i>Эпилог</i>	<i>287</i>

Е. Воеводин и Э. Талунтис
„Совсем недавно...“

Редактор В. Н. Дружинин
Художник Т. И. Ксенофонтов
Художник-редактор Б. Ф. Семенов
Технический редактор Л. Г. Левоневская
Корректор Е. Н. Куренкова

Сдано в набор 6/IV 1954 г. Подписано к печати 29/VI 1954 г.
Формат бумаги 70 × 92¹/₃₂. Печ. л. 18,5. Условн. печ. л. 10,82
Уч.-изд. л. 10,41. М-39759. Тираж 90 000. Заказ № 542.

Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство,
Ленинград, Торговый пер., 3
Типография имени Володарского, Ленинград, Фонтанка, 57







4 р. 15 к.

© TAYLOR & FRANCIS
LONDON & NEW YORK

© THE
PUBLISHERS
OF THE
JOURNAL
OF THE
ROYAL
ANTHROPOLOGICAL
INSTITUTE